

Артем РЯЩЕВ

ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШИХ ЖИЗНЕЙ

Повесть

— Эй! Выше ноздри! — крикнул акселерат. — По ко́ням! — и он запрыгнул на свой велик и ударил по педалям, ну а мы — за ним.

Акселерата, Женьку то есть, я знаю миллион, наверное, лет и никак не меньше, и за это время он успел вымахать метра на два — вот почему он акселерат. Места он теперь занимает как Джан-ман-ланг... Джо-мон-лун... словом, как целая гора Эльбрус. Я бы постеснялся так, а он — вот; ничего ему, Жене, собою солнце всем загораживать не совестно! Как в школьном классе он, так пол школьного класса — Женя; как на улице — ни пройти, ни проехать от него становится. То вдруг так расконцертничается, что совсем невозможно рядом с ним делается. Как есть акселерат. Выкормленный геркулесом, сам — целый Геркулес. Геркулес Бельведерский. Будто весь из бетона отлит и нет у него даже пятки, в которую его ранить можно.

Убить: льва — раз плюнуть! змеюку — в узел ее, змеюку! оленя — еще раз плюнуть! и кого еще? — кабана — кабана не моргнув даже! Вычистить: конюшню — можно! Снова убить: птицу — возможно! Зепленить: корову — и только? Нет, еще и лошадей — так даже веселей! Умыкнуть: пояс — легко! Еще раз корову — уже проходили! Опять стырить, но теперь яблоки — полные, аж по швам трещат, карманы кислых яблок! И наконец, наступать по кукушке злой псине. Вот так дела, Геркулес! И все это — Женя.

Я кручу педали, и у меня даже получается особо не отставать от Жени, только сильно пить хочется. То-то с утра солнце было! — теперь еще пуще: солнце ярое, словно полымем плечи жжет, шиворот выжигает — а все равно хорошо! Лечу на велике, носом перед собой воздух режу, и вот уж не так и жарко.

А куда мы? — а куда глядят Женины глаза. Он едет впереди, ведет нас, куда ему одному знаемо. Я тоже мог бы вперед всех и путь указывать, да только мне Женьку не обогнать. Куда там Женьку, даже Фенька не могу — Фенёк мчится на своем «Школьник» впереди, и, вообще-то, это для меня страшный позор, что я не могу и его догнать, ведь Фенёк у нас совсем маленький.

Как-то на школьной перемене, когда мы с Женькой подпирали спинами коридорные стены в ожидании следующего урока, к нам подошел веснушчатый шкетенок, такой, мне по коленку. Он протянул руку и уморно-серьезно сказал:

— Фенёк.

Артем Рящев родился в городе Рыбинске Ярославской области в 1981 году. Учился в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Работает в сфере интернет-технологий. Автор романа «Думки» и нескольких повестей.

Я не понял и посмотрел на Женю, Женя пожал плечами.

— Фенёк, — повторил он, — ну, потому что я рыжий.

Ржавая его башечка ничего не объяснила ни мне, ни Жене, но я пожал Феньку руку и представился, Женя поступил так же.

— Очень приятно!

— Очень приятно!

— И мне тоже, — со всей серьезностью сказал Фенёк, а я чуть не рассмеялся на эту его серьезность.

Вот так Фенёк притесался к нам, да и прижился. И хоть он странная для нас с Женькой компания, да только нашу с Женькой компанию без Фенька теперь и представить нельзя.

Ох, колени мои скрипкие! Раскрипитесь, разойдитесь! Сгибайтесь-разгибайтесь, окаянные! Колени крутят, крутят, а Женю нагнать все равно не могут.

Педали кручу, а по сторонам мельтешня: дома за домами проносятся, перекресток и снова дома. Широченный мост с мачтами и изгибчивыми снастями на них: на него тяжело, с него — быстрее ветра и даже педали не надо. Ворота в парк, но нам не в них, а мимо. Мимо ограды — столбы отбрасывают широкие тени, между ними копыя решетки — тени совсем тонюсенькие, но их так много и они так часто, что едешь, а в глазах стробоскопит и как пьяный делаешься. Потом — опять дома, только теперь они длинные-предлинные, а от перекрестка до перекрестка все дальше и дальше. Опять — мост, другой, без мачт и скучный, голый, но все равно: на него — тяжело, медленно, а с него — вжик! — и встречным ветром сопли в нос обратно задувает. Потом... а там — я уж и следить перестал: вижу только перед собою брезентовый рюкзак на Жениных лопатках, а на нем застежки на солнышке поблескивают, за ним, за брезентовым рюкзаком, за застежками, и еду, не отставать стараюсь.

Дорога с каждым оборотом колеса все уже да хуже, с одной стороны пылится стройка-недостройка, с другой — ползут голые, грязные поля. Вдруг снова домики — теперь все меньше, вот уж и до смешного маленькие, не дома, а избушки. Я встал. Калитка, а в ней щель: для писем и газет; под щелью: осторожно, злая собака! Рядом — столб: не влезай, убьет! Калитку обрамляет квадратный забор, в дальнем углу — косенький домишко, совсем зарос, голые ребра под шиферной крышей, и глаза выбиты: один клееночкой заклеен, другой — дырки и трещины. И вдруг сквозь трещины, сквозь дырки на меня зыркнули толстые очки, а я — на педали и поскорей Женин рюкзак догонять.

И тут под колеса каменка, булыжная дорога, вылезла из-под асфальтового одеяла. Голыми черепухами допотопных великанов будто вымощена. Предательское: тук-тук-тук — колесами по самым макушкам — извините за беспокойство, думаете, мне нравится задницу об вас оббивать?! — и снова: тук-тук-тук — а вдруг спят, не умерли, не разбудить бы! Дальше — только по бровке и можно ехать, по стоптанному песочку.

Теперь и домики пропали, и избушки, только дорога лентою, снова асфальтовая, и лес с двух сторон узким коридором стоит. Как же далеко мы забрались? А как обратно ехать? А Женя помнит, как нас сюда завез? А вывезти сможет?

Я хочу крикнуть, чтоб мы остановились, и я все это у Жени смог бы выпросить, но как раз перед нами — мы стали в рядок как вкопанные, кричать не потребовалось, но и вопросы тут уже другие — желтое поле.

И как оно такое желтое! От края до края желтое и желтое. Хорошо! Красота — аж глаза ест.

А сквозь по полю тропинка, а — и еще одна с другой стороны; кругом поля — тоже дорожка.

И чего только на поле этом нет, кроме того, желтого: зеленые колоски лопухого подорожника соревнуются с пучками обычной травки, кто кого перерастет, нежный мак обнимает четырьмя лепестками только что зародившуюся свою коробочку, белые зонтички собачей петрушки и желтые зонтички пижмы, фиолетовые метелки, оранжевые метелки, шарики клевера, самые обыкновенные ромашки и самые необыкновенные васильки. И все цветет вместе, будто наказано им так неведомым кем-то, и все свежее и только что народившееся: будь травка — изумрудная травка, будь цветочек — самой яркой краски его лепестки.

Где-где по полю — тысячелетние могучие сосны. Сосны эти совсем не похожи на лесных своих родственниц: шире любого объятия их стволы, ветки у них коряжистые, до самого низу. Чуть ветерок — поле волнами, а сосны ветками качают, поле ласкают. Старые мамки-няньки будто бы они полю. А вот одна среди всех сестер-сосен колом стоит, ни веток у нее, ни иголок — закончила свой век, еще чуть — и совсем сгинет.

Небо здесь голубое до белого, а по нему — огромные, на полнеба, многоярусные облака тесными горами громоздятся, как и мы, закаменели и не двинутся, ни одной барашкой не шелохнут, тоже полем любятся.

Я бросил велик и лег на землю рядом с Жениными колесами. Ладонь на ладонь, а сверху подбородок.

Земля пыльная и пахнет пылью. Такой пылью, разогретой на солнце, пахнут все тропинки через все поля; и желтое поле так пахнет, и именно этот-то пыльный запах и кажется здесь главным.

К нам подошел Фенёк, сел мне на лопатку.

— Зазырь! — говорит Фенёк и протягивает мне свою крапчатую лапку.

На ней, на костяшке указательного пальчика, сидит божья коровка — красная ягодка.

— Зазырь! — снова говорит Фенёк и делает такое движение, что я понимаю, что он приглашает меня взять себе эту коровку.

Я подношу руку, моя пясть прикасается к его пясти, а божья коровка будто бы поняла, что ею хотят поделиться, и переползла ко мне на указательный палец.

— Ты ей веснушки подарил? — спрашиваю я Фенька.

— Какие веснушки? — не понимает Фенёк.

— Ну вот, — говорю, — у нее на крылышках.

Фенёк долго вглядывается в пятнышки на красных крылышках, а потом как засмеется:

— Ты что! У всех коровок есть такие веснушки!

— Есть-то есть, — говорю, — только у всех по пять, а у этой семь. Где она еще две взяла?

Фенёк снова на коровку, считает пятнышки и пальчики загибает.

— Семь! — согласился Фенёк. — Ух, может и подарил!

Я руку снова под подбородок убрал, а коровке пришлось переползти по костяшкам на мизинец. Лежу, глаза кошу на нее, и все от этого в глазах двоится, кажется, что и коровок теперь две, и пятнышек тоже в два раза больше.

— Лети-улетай в тот чудесный край, что зовется рай, нас злом не поминай! — говорю я.

Красный футляр, кожица ягодки, послушно располовинился, из-под него выпривилось два черных крылышка. Они зажужжали неестественно громко, совсем как если бы механические. Разогрев крылья, божья коровка выбрала направление, развернулась и стрелой слетела с моей руки.

— Ух! — ухнул ей в след Фенёк.

— Эй! — неожиданно громко позвал вдруг Женя. — Кто кого? — да как вскочит в седло и — на педали.

Мы с Феньком подскочили, на велики и — за Женей в догоню.

Куда мне Женю догнать! Я уж как могу быстро, да Женя все равно быстрее. А как Женя едет! То стоя на педалях Женя едет, а велик под ним опасно качается, и тогда летит он как стрела и даже быстрее стрелы, а то сядет в седло, спину откинёт, а руки — с руля и лениво их плетью свесит, не его это руки как будто бы и катит — тоже красота! Жаль, что я так не умею; ну то есть умею, но недолго: без руля я пару метров, может быть, и проеду, да через те пару метров свалюсь.

Не разбирая дороги, летит мой велик, по всем ухабам — ни одного мимо! — уж я задницы своей не пожалею. Я кручу педали, кручу, как никогда не крутил; кручу, и кажется уже, и не по полю я еду, а над полем лечу, по воздуху будто.

Из конца в конец — за секундочку, вокруг — за четыре.

Где-то Женя — его не видно теперь, только голова его гривастая то тут, то там мелькает. В поле дорожек много, и мы по ним да на все стороны. И вдруг Женя выныривает откуда-то и — мне навстречу.

Бывает так, что одна какая-нибудь мысль сразу в нескольких головах рождается. Рождается, и не надо ничего говорить друг дружке, не надо ни о чем между собой договариваться. И ни намёка, ни полувзгляда не надо. Эта мысль рождается сама собою, как бы по естеству. Потому что так только и может быть, а иначе — нельзя. Кажется, так цветы узнают, когда им зацвести, а птицы — что пора им улетать.

Так и я понял, и Женя понял, что сейчас должно случиться; и это совершенно неизбежно, будто без этого и жить дальше невозможно — а как и невозможно?

Я несусь на Женю, а Женя — на меня, и мы просто знаем, для чего мы несемся. По одному тому и кручу я педали на Женю и раскручиваю их все шибче и шибче, что так надо — вот что я знаю и вот что знает Женя. И еще я знаю, что не сверну. И Женя не свернет, и это я тоже знаю.

Кручу педали, а сердце уж и не бьется совсем, камнем стало, гулко только, как в цинковом ведре, подскакивает. Сердце, терпи. Бейся, бейся!

А как не стерпит?! Не доживу я до смерти, наперед умру от страха, а все равно педали крутить не перестану, а все равно не сверну: хочет Женя жить, пусть первым сворачивает! — так я себе пообещал. Пообещал, но сам-то знаю: не свернет!

Женя так близко! Его глаза несутся на меня, с каждым мгновением становятся все ближе и больше и — еще больше; больше всего желтого поля, всего неба — больше. А какие они спокойные, будто и не смерть сейчас случится. Я смотрю в его глаза, в Женины ореховые глаза, и мне тоже спокойно делается. И — так хорошо!

Я не свернул — кто бы мог подумать?! И Женя не свернул — ну тут никто и не сомневался. Мы сшиблись, едва земля не проломилась под нами.

Лететь по воздуху легко и приятно; лети и лети, как птица, лети гордо, будто гусь перелетный: да вот только далеко-то и не улетишь. Земля всегда близко, и этого не изменить — так уж устроено. Я приземлился мешком с костями, и ни одной целой косточки в том мешке, кажется, не осталось — ну, две-три, может, на весь организм и есть непереломанных, а остальные — хрясь.

Я пересчитал зубы языком; и снизу пересчитал, и сверху пересчитал — вроде все на месте: этого давно уже нет, а у этого краешек отломлен — тоже давно. Разве этот качается, или так кажется оттого, что язык мягкий — непонятно. Попробовал встать на ноги — получилось: встал и заплясал, как пьяный. Обхлопал себя ладошами — вроде ничего, жить можно.

Женя из канавы на другой стороне тропинки — и ко мне; Фенёк тоже откуда-то — и тоже ко мне.

— Ух, герой! — ухнул Фенёк.

— Эй, смельчак! — эйкнул Женя.

Если я и герой, если я и смельчак, то самый последний герой из всех героев и из всех смельчаков самый распоследний смельчак. Вообще, я не герой, конечно, и не смельчак я никакой, я — самый что ни на есть трус, и трус в своем роде даже замечательный, но все равно приятно, у меня аж щеки загорелись, и я стою-улыбаюсь во все тридцать два: одного нет, один отколот, а один вроде качается.

Я думал, это я тогда испугался, когда на Женьку летел. А оказалось, то были цветочки, ягодки вот только сейчас спели — не успел я тогда по-настоящему испугаться, а теперь — вот, испугался, когда меня героем и смельчаком назначили.

Стою, щеками горю, а горло сжало, и не могу горлом — так бывает, когда сильный ветер в лицо и дыхание крадет. Схватился за шею — не помогло, только кадык мой туда-сюда ходит, по горлу как на лифте катается, то выше того места, где я руками, то ниже выскакивает. И еще он так гадко подрыгивает, как когда вытошнить собирается, да все никак не соберется. Фенёк мне что-то говорит, и Женя что-то, а у меня в ушах тонкий писк и больше ничего, оглох и не слышу — вхолостую, как рыбы рта-ми, амкают Фенёк и Женя. А в глазах, а перед глазами, что-то почти невидимое у меня перед глазами — но что же это? Серые полупрозрачные кружки там ползут: это как подглядывать за букашками, которые живут в капельке воды, через микроскоп. Вот пятнышко побольше, вытянутое — это знаменитая инфузория туфелька проплывает у меня перед глазами куда-то по своим делам, а ресничек у нее — миллион, наверное, и никак не меньше! Вот щупастая амеба ей наперерез. Вот эвглена шлепает своим жгутиком, как дрессировщик — кнутом.

Эвглена: и — раз! Хлясть! Але-оп!

Я смотрю на Женю — а в его кудрях смешно завелась какая-то одноклеточная, имя которой я и не знаю, качается на Жениных завитушках, как на морских волнах, с одной на другую перескакивает, и весело ей, смеется, да так смеется, что сейчас мембрану себе порвет.

Эвглена снова щелкает кнутиком: и — два! Хлясть! Стоять!

Стоять! — я земли под ногами не чую и самих ног тоже не чую, так вдруг слабо мне в себе самом стало, сейчас рухну.

Я посмотрел на Феньку, а он, а на его лице — целая колония веснушек; толкаются, все куда-то спешат, спешат, и у каждой все честь по чести: ядро, хлоропласты и вакуоли.

Эвглена опять: и — три! Хлясть! — а дальше я и не слышу, что мой одноклеточный дрессировщик кричит мне, не помогло это, кнутиком выхлестывать: ноги у меня подкосились, я шагнул пару раз в поисках равновесия, но никакого равновесия для меня не нашлось, колени завернулись, и я свалился прямо на землю.

Вот такой вот я герой, вот такой вот я смельчак! — а может, это солнышко напекло, а не от испуга?

Кажется, отключился я ненадолго. Когда очнулся, открыл глаза, а надо мной — две знакомые морды меня рассматривают; одноклеточные все куда-то испарились.

— Эй, ну ты чё? — поинтересовался Женя и попинал меня легонечко под ребра носочком своего сапога.

— Перегрелся, — наврал я.

— Печет! — согласился Женя и подал мне руку.

Я за нее, за руку Женину, схватился, а он меня на ноги — раз! — и поставил.

Перепроверил зубы: а нет, все-таки качается, сомнений быть не может; остальные — без изменений.

— Надо посмотреть, что там с великами, — сказал я.

— Мой — жив, — радостно сообщил Женя.

— А мой? — глупо спросил я.

Мы осмотрели мой велик. Выправили переднее крыло — оно согнулось, и колесо его под вилку закрутило. Выправили и руль — его скосило на сторону. А вот с фонарем можно попроститься, фонарь — вдребезги. Все остальное — в порядке. Можно ехать.

Поехали. Коленка болит, когда на педаль давишь. Другая вроде не болит. Зато со стороны той, другой, которая не болит, болит разодранная на предплечье рубашка. Встречный ветерок ласково задувает мне рану на лбу — там, наверно, выскочит шишка размером с Джан-ман-ланг... Джо-мон-лун... словом, с Эльбрус.

Женьке на этот раз тоже досталось, пусть и не так сильно, как мне, но все равно — хорошо! И у него на лбу, но чуть-чуть и еще чуть-чуть на скуле справа. Так ли не раним ты, Геркулес?

Вдруг Женя резко съехал с дороги на отворот и — в лес, ну а мы с Феньком — за ним. Только заехали в лес, а отворот тут же кончился, и мы расседлали велики.

Что за красота — лес! Сухой бор, тоненькие сосны, под ногами — мох кочками, где-то пучок папоротника, веточка шиповника. Дорожки нет, а идти по бору все равно легко и приятно; а пахнет сосновый лес — аж голову кружить начинает!

Я пнул сыроежку, другую; а вот и мухомор попался — и мухомору по мордám.

Появилась трава; сосенок стало меньше, среди сосенок начали попадаться березки, елочки, а потом все совсем переменялось: среди березок и елочек изредка появлялись сосенки: теперь лес низкий, тесный, разлапистый. Душно. Света мало. Меж деревьями — низкорослая непролазь. Мох стал влажным; на него ступишь, он чавкает и медленно выправляется, как был. Торчат серые коробочки — это кукушкин лен. Пучками растет лесной подорожник — колдунник. А вот и вороний глаз!

Я оборвал стебелек у самого корня — что за природа такая: целое растение из-за одной только ягодки.

— Зазырь! — предложил я Жене.

— Что это? — спрашивает Женя, а сам уже лапы к яголке тянет.

А как не скажу Жене, и он ее съест, эту яголку, то как будет?

Я отдернул веточку.

— Она ядовитая, — говорю. — Вороний глаз.

— Ядовитая? — глупо переспросил Женя.

— Ага, — подтвердил я. — Знаешь, какая смерть от него? — спрашиваю.

— Какая? — интересуется.

— Самая страшная от него смерть: корю́чит, пена изо рта, коленки распухают и несут неистово.

— Как несут? — не понял Женя, ну уж я не стал объяснять.

— А еще глаза краснеют, а потом из орбит выпрыгивают: сначала один, а за ним и другой выпрыгивает; и висят потом, дрыгаются на веревочках, пока совсем не отсохнут — такая ягода.

— Врешь? — не совсем уверенно предположил Женя.

— Хочешь проверить? — предложил я и протянул веточку Жене обратно.

Женя почесал подбородок двумя пальцами, большим и указательным, решил на конец, потянулся к яголке все теми же двумя пальцами, но вдруг свел брови и сморщил лоб — передумал, так с вытянутой рукой и закаменел. И я стою, жду, что будет.

— А почему вороний глаз? — спросил Фенёк.

— Потому что похож, — отвечаю. — А знаешь, что самое страшное? Страшней даже мучительной от него смерти?

— Что? — выдохнул Фенёк.

— Вороньим глазом черт смотрит-подглядывает на наш белый свет из своего подземелья! — я сжал четыре листика вокруг ягодки так, что вроде как веки получились, и полупал ими.

— Ух! — ухнул Фенёк.

— Ой да!.. — воскликнул Женя и снова лапами к яголке.

Но я не дал; Женя попробовал было отобрать силой и съесть, так что мне пришлось скомкать веточку и за пояс, да поглубже, упрятать: туда-то уж Женя точно не полезет за своей верной смертью.

— Я потом сам найду и попробую! — пообещал тогда Женя.

— Только на помощь не зови, когда захочешь глаза обратно в черепуху запихнуть, — предупредил я.

Лес снова переменялся, снова сосенки. Мох пропал, почва твердая. Белый плотный песочек из-под опавших иголочек. Растопыренные шишки, некоторые поедены. Ямы; в одних почему-то камни, большие, по-одному, а в других — нет. И вдруг нам под подошвы наших обувочек стрежка-дорожка сама собою скаканула; теперь мы идем по ней. А пахнет здесь не сосенками. То есть не только сосенками. Больше пахнет сапропелем — значит, река где-то недалеко близко.

Глубокий сухой овраг: кабаном вниз, лосем вверх, и высокий речной берег обрывом: не соврал сапропель, вот река. А какой высокий этот речной обрыв — подойти страшно. Ну, то есть это мне страшно; Женя с Феньком побросали велики и — на самый краешек.

— Ух! — ухнул Фенёк, поравнявшись со мной. — Берегов не видно.

Это он, конечно, выдумал, что берегов не видно; видно, но река и взаправду широкая. Обрыв берега, песчаный пляж, тихая вода рябится под слабым ветерком. Ближе к середине — красный бакен неподвижен, за красным бакеном — белый, тоже неподвижен, будто и не на воде, а на полу они стоят. А меж бакенами чайки устроили плавучий базар. Сидят, сидят, а потом одна которая-нибудь, ничуть не отличимая ото всех других, снимается со своего места, взмётывается надо всеми, даст два-три круга над своей стаей и плюхнется, где сидела. Потом другая точно такая же точно так же взметнется, нарежет пару кругов и — вниз, и так до бесконечности. Дальше — противоположный берег в синеватой дымке; противоположный берег, наоборот, пологий и на нем — луга.

— Это та же река, что и у нас? — спросил Фенёк.

— В городе? — уточнил я.

— Ага, — подтвердил Фенёк.

— Не знаю, — признался я. — Наверное.

— Какая разница! — воскликнул Женя. — Главное, что река. Я уж думал, не доедем.

— Так ты знал, куда мы едем? — спросил я Женю.

— Знал, — подтвердил Женя, — на реку.

— Именно на эту? Именно сюда?

— Нет, просто на реку.

— Зачем? — это Фенёк.

— Ясно, рыбу ловить, раз река! — это Женя.

— Ух, рыбу! — ухнул Фенёк. — А ты умеешь?

Женя не ответил ничего даже, вместо ответа только кивнул так: мол, ясно, умею!

— И как ты без удочки будешь? — я попытался уколоть Женю, но, конечно, ничего у меня не вышло.

Женя опять ничего не ответил, а только погрозил пару раз указательным пальцем, но не мне, а как бы говоря: «Вот увидишь!», соорудил самое таинственное выражение на своем лице, выпутался из рюкзака, запустил руку в его карман и медленно извлек оттуда коробок, обычный спичечный коробок, какой есть и у меня, и вообще у каждого мальчика.

— На спички ловить собрался? — снова попытался уколоть и снова — мимо.

Женя по-прежнему молча, одним только жестом пригласил нас с Феньком заглянуть в коробок и медленно выдвинул из него внутренний ящичек, а в нем несколько разно-размерных крючков, свинцовые шарики грузил, пенопластовый кусочек и моточек прозрачной лески.

— Ух! — восхищенно ухнул Фенёк, а я опять:

— Как ты без палки-то?

— Без удилища, — поправил меня Женя.

— Ну, без удилища, — неохотно согласился я.

— Удилище — это самое легкое, — сказал Женя своим рассудительным голосом. — Я удилище в лесу вырежу, главное — ровную палку найти, а если нет, то обстругаю.

— Чем же это, пальцем обстругаешь? — предположил я. Пора бы мне, конечно, перестать колоть Женю, все равно ничего у меня не получается. Вот и хотел бы, чес слово, да не могу перестать.

Женя тяжело на меня посмотрел, но смолчал. Из другого кармана он достал складной нож, подцепил лезвие ногтем и отогнул.

— Ножом обстругаю, — сказал Женя убедительно однозначно.

У меня аж пятки от такого похолодели; и еще раз похолодели, когда я рассмотрел Женин нож. И что это за нож!

У меня нож — ножичек. Серенький, с каким-то непонятным шилом, закрученным в спиральку, и вторым, совсем коротеньким лезвием для консервных банок. Ну не то чтобы совсем позор, достать такой в любой компании — не засмеют, но вот Женин нож! Недлинный, всего только с ладонь Женин нож, а какое впечатление он производит! Ручка черная, угластая, с металлическим навершием; несколько клепок по ручке блестящих, а заканчивается она, ручка эта, чем-то вроде гарды, какая бывает у самых настоящих кинжалов, и выпирает это что-то-вроде-гарды вперед двумя квадратными рогами. А лезвие! Не жить мне больше на белом свете, если это не кровосток идет почти во всю длину необычно широкого лезвия Женькиного ножа!

— Со скольких медведей этим ножом шкуру стянули! — воскликнул Женя, и Фенёк восхищенно ухнул.

— Со скольких? — поинтересовался я.

— Со многих, — удостоверил Женя.

Снова замолчали, нож рассматриваем, думаем о медведях.

С тупой стороны лезвия — страшный крюк. Вот вопрос: что за крюк?

— Крюк — из медведей жилы тянуть, — говорит Женя, угадав вопрос в моем взгляде.

— Какие жилы?

— Медвежьи, — соврал Женя.

А как не соврал?

— Это бутылки открывать — открывашка, а ничего не чтоб жилы! — уличил я Женю. — Враль! — пригвоздил окончательно.

Окончательно, да не тут-то было!

— А я вот сейчас из тебя парочку жил, тогда посмотрим, кто враль! — сказал Женя, глаза его хищнически блеснули, и он двинул на меня.

Мне такое очень не понравилось, еще и Фенёк ухнул так, будто меня похоронил уже — и я попятился. Вот отрезал бы себе язык и жил бы спокойно, есть же и у меня нож! Так ведь нет удержу никакого языку, знай мелю им все, что мелется, — и вот расплата. Медленно шагает на меня Женька на полусогнутых; медленно и я от него. Свободную руку Женя отставил, как фехтовальщик, а ту, в которой нож, — вперед; и нож так угрожающе между двумя пальцами, большим и указательным, покачивается. А глаза у него заузались, дико посверкивают, губы — в кровожадную улыбочку, углами к ушам ползут, и язык кончики зубов его лошадиных наглаживает: то по нижним, то по верхним проведет. Еще и бровями своими меня запугивает. И нет никаких сомнений: сейчас на меня напрыгнет и — разве пырнет?

Интересно, а что такое эти жилы, которые Женя пообещал из меня вытянуть? И где они находятся: глубоко или близко? А как жить без жил? Или без них никак и помирать без них придется? Миллион, наверное, вопросов у меня в черепахе крутится и никак не меньше, и все в таком же роде, а ответов — ноль целых ноль десятых ответов, ни одного ответа нет.

Женя — шажок, и я — шажок; еще — и еще; и все так медленно, у меня перед глазами вся жизнь успела за то время, что мы тут с Женей топчемся, пронестись. Мы покружились по солнцу, потом — против. Женя снова на меня, я снова от него и — разве подо мной земля кончилась?

Я позорно пискнул от неожиданности, взмахнул руками, попытался ухватиться за воздух, но этого у меня, конечно, не вышло; меня опрокинуло, и я кубарем полетел вниз по обрыву.

Небо, Земля.

Кружит меня.

Кружится всё.

Нү, ё-моё!

Крутит, вертит,

Вырвать хотит

Руку, ногу.

Я не могу!

Вихрем летит,

С горки катит.

Выживу ль я,

Небо, Земля?

Мне надоело сопротивляться, да и бессмысленно это: от того, что сопротивляешься, только хуже; лечу, качу; как летится — лечу, как катится — качу. И все — одно: что на небе, то и на земле, а что на земле, то и на небе. Низ, верх, все смешалось, все скаталось в клубок: облака — в реке, а небо — волнами, лес над обрывом и солнышко сквозь него, как через спицы велосипедного колеса, какая-то коряга, какой-то камень. Прямо по ласточкиным норам, а ласточки — из-под меня да на все стороны и — ввысь. Бережок, пучок какой-то травы. Снова коряга — о-го-го какая растопырка! Снова камешек — о-го-го какой валун! И наконец приплыли.

Лежу на песочке, распластался, небо наблюдаю. Красивое здесь небо, синее, и облачка где-где по нему, беленькие, вспушенные. Под боком водичка плещет — хорошо! Так бы и лежал здесь, до последнего дня белого света все лежал бы да лежал, грел-

ся бы на солнышке, слушал бы реку, что она там мне в ухо нашептывает, но вдруг мне представилось, что на меня сейчас напрыгнет Женя и закончит свое грозное дело, всадит мне крюк под ребра, а то куда и похуже и вытянет-таки мои жилы, как и обещал, и я вскочил, чтоб встретить смерть на ногах, но Жени рядом не оказалось. Женя стоит на обрыве, ладонью глаза прикрыл и на меня смотрит. Фенёк рядом, тоже лапкой глаза от солнца закрывает и тоже — на меня.

— Ух! — ухнул Фенёк и помахал мне.

Я телеграфировал обратно.

Обсмотрелся, оценил ущерб: не так уж все и плохо, только вот рубашке совсем капут, насмерть раздырявлена. В рубашке теперь смысла — ровным счетом ноль смысла в моей рубашке: одни дыры, а сквозь дыры — ребра; и непонятно даже, как эти дыры друг за дружку держатся и с ребер не спадают. Из одежды у меня теперь только штаны. Ботиночки еще.

Осмотрелся вокруг: могло быть и хуже, мог бы и об этот огромный валун затормозить, тогда бы я точно — всмятку. А если бы я на эту корягу кубарем налетел? Вон как пригласительно торчат ее сухие сучья! Что за валун, что за коряга! А ведь выжил!

Посмотрел вверх: там Женя с Феньком так и стоят, будто бы переговариваются. Женя что-то сказал Феньку, махнул рукой и скрылся из виду, Фенёк кивнул, подпрыгнул на месте и — вниз по обрыву.

Ухая, хватаясь за равновесие обеими лапками, задирая коленки выше плеч, Фенёк слетел на берег.

— Жив? — поинтересовался у меня Фенёк, только ступил с обрыва на берег.

— Чутьочку, — пожаловался я.

— Красиво ты с горочки! — похвалил он меня.

— Красиво! — проворчал я себе под нос. — Один мальчик тоже вот так с обрыва кувырда́хнулся, так от него голова отломилась, пока он вниз летел.

— Отломилась? — удивился Фенёк.

— Отломилась по самую кочерыжку, — говорю, — и покувырда́халась дальше.

— Ух! — выдохнул Фенёк. — И мальчик что, умер?

— Зачем умер? — говорю. — Поднялся, отряхнулся да на уроки пошел.

— В школу? — удивился Фенёк.

— В школу, — подтверждаю.

— Как же он без головы и в школу? — спросил Фенёк.

— Да больно там голова в школе нужна-то?!

— А голова?

— Что голова?

— С головой-то что стало?

— Ничего с головой не стало, — говорю, — так и лежит там на речном песочке, пейзажи обзрывает.

Фенёк ухнул еще раз и покрутил головой, видимо пытаюсь понять, отломится ли она у него, если он с обрыва вверх тормашками полетит, или нет.

— Лучше раны зацени! — предложил я Феньку.

Фенёк обсмотрел мои раны: на груди, на животе, на боках все разодрано.

— А на спине тоже? — поинтересовался я.

— На спине тоже, — подтвердил Фенёк.

— Пальцами не тыкай! — попросил я Фенька.

— Ничего, до свадьбы заживет! — посочувствовал мне Фенёк.

— Дожить бы до свадьбы!

Что мне эти мои раны?! Не больно-то и больно даже от ран от этих, да больно от них обидно. Обидно, что от Жени пострадал, еще и так позорно. Еще рубашка вот! У меня аж слезы к глазам рванули, но я кое-как умудрился их не выпустить: расхныкаться перед Феньком, как маленькому, мне никак нельзя.

— Где этот акселерат? — спросил я Фенька.

— Ушел удилище искать. Как найдет, вернется. Ждать велел, — ответил он.

— Велел! — снова проворчал я.

А вот что я на Женю злюсь? Сам же и виноват! Злился на себя: у кого язык такой длинный, что им можно было бы солнце с неба слизнуть, если б оно, солнце, не такое горячее было бы? У меня. Чьим языком можно весь белый свет три раза по экватору обмотать? Моим. А на Женю все-таки привычнее злиться, чем на себя, вот я и злюсь на Женю.

Я стащил с себя рубашкины останки, скомкал, замочил их в реке и попытался обтереться. Щиплет: ребра щиплет, под ребрами щиплет, локти щиплет, плечи щиплет — словом, все что ни есть, все щиплет. А вот крови вроде немного, а какая есть, та уже спеклась — хорошо!

Фенёк скомканной рубашкой обтер мне спину, там ситуация такая же: места для новых ран не осталось. А как понадобится место для новых ран, день ведь еще не кончен — как я тогда?

Я забрал разодранную рубашку обратно и сел у реки; Фенёк — рядом.

Мерно, спокойно несет река свои воды; волна за волной бежит вперегонку. Отсюда не видно чаек, и они больше не взлетают, чтоб покружиться над своим плавающим базаром. Потревоженные моим полетом ласточки обратно упаковались в свои норы — и их не видно. И кажется, что будто бы мы с Феньком вдвоем одни живые на целом свете, да еще Женя — мне хорошо слышно, как хрустят в лесу ветки под подошвами его сапог: столько шума, будто там целый лось, а не Женя в поисках своего удилища бегаёт!

Я перевернулся на четвереньки и заглянул в воду. Душераздирающее зрелище! Из воды на меня такой енот смотрит! Разве возможно, чтоб это я?! Ничуть! Волосы дыбом, вместо глаз — два фонаря, щеки — и на одной, и на другой все так разодрано, что и лица-то нет. Если бы не Джан-ман-ланг... Джо-мон-лун... Короче, если бы не целый Эльбрус на моем лбу, никогда бы я не признал себя я в этом еноте, только по этому Эльбрусу и понятно, что этот енот и есть я.

Фенёк подошел ко мне и — тоже в воду.

— Ух! — ухнул он. — Рыба! — да так громко ухнул, что прибрежные мальки — кто куда врассыпную.

— Это не рыба, — говорю. — Женя на такую рыбу не согласится.

— А на какую согласится? — спросил Фенёк.

Я пожал плечами.

— На кита согласится, — предположил я.

— Ух! — снова ухнул Фенёк. — А разве киты в реках живут?

— Живут, конечно! — говорю. — И во множестве даже!

— Во множестве? — испугался Фенёк.

Он вскочил на ноги и попятился. Я даже и не подумал, что он может так китов испугаться!

— Не бойся, — говорю. — Киты в самой пучине плавают, что им делать на мелководье?!

А Фенёк все пятится, глазами по реке скачет, пучину, где киты, пытается выглядеть.

— Смотри, даже я не боюсь, — сказал я и в доказательство, что не боюсь, опустил одну ладошку в реку.

Фенёк остановился, такой аргумент показался ему убедительным.

— Холодная, — сказал я, вынул ладошку и тщательно потряс ею от воды.

Фенёк вернулся, осторожно потрогал реку.

— Холодная, — подтвердил Фенёк. — В такой купаться опасно, нога застрянет.

— Опасно, — соглашаюсь.

— Еще и киты, — напоминаю.

Спрашиваю:

— А как это, застрянет?

Фенёк снова поднялся, задрал одну ногу, согнул ее и говорит:

— От холода застрянет, вот так, а разогнуть не сможешь, — и он изобразил, как это будет: подергал согнутой ногой туда-сюда, а на мордочке губы концами вниз изогнул и глаза выпучил. — Верная смерть, особенно если до берега далеко! — заключил Фенёк.

Мы помолчали.

И вдруг вопрос:

— А им там холодно? — спросил Фенёк и кивнул на реку.

— Кому? — не понял я.

— Китам.

— Может, и холодно, — говорю, — да только им это нипочем. Ног-то у них нет, застревать нечему. Знай себе плавают, пусть и холодно.

Фенёк кивнул, значит, поверил.

Вдруг знакомое «эй!» скатилось нам в спины с обрыва.

Я обернулся и увидел на краю обрыва Женьку. Стоит, плечастый, на самой круче, майку содрал и за пояс заткнул, в руке палка, и палкой этой он небу грозит — будто бы царь он всей природы!

Сразу стало жалко мне свою рубашку, когда я увидел эту гору бетона на обрыве. Я попытался хоть как-то прикрыться рукой, а локтем другой — на нее и подбородок подпираю, будто передумываю что-то. Но ведь вечно же нельзя так ходить и нельзя же так много думать! А что делать, и непонятно! Разве натянуть рубашку обратно? Точно, так будет лучше.

Женька эйкнул еще разочек, да так эйкнул, что ласточки поспешили эвакуироваться из своих нор, а над деревьями за Жениной спиной поднялся страшный грай и даже чайки снялись с реки и закружили, напуганные Жениным призывным криком. Акселерат радостно обсмотрел беспорядок, который сам же и произвел, подпрыгнул и, еще раз эйкнув, сиганул с обрыва.

Размашисто несется резвоногий Женя по обрыву, палку свою, как копьё, держит — вождь краснокожих бизона гонит! Ему двух шагов хватило, чтоб спуститься с обрыва: прыг-скок — и уже перед нами.

— Отрезал от куста, — объяснил Женя палку в своих руках, — очистил, сучки срезал. Теперь — удилище. Вот!

— Ух! — восторженно ухнул Фенёк.

Женя кивнул Феньку в знак благодарности и строго посмотрел на меня. Пришлось мне хвалить Женю за его удилище.

Собрав причитающиеся ему похвалы, Женя принялся за удочку. Во-первых, надо подготовить удилище: Женя достал нож, а у меня — опять пятки, но Жене не до меня, нож — чтоб вырезать концентрический желобок на конце удилища.

— Какой желобок?

— Кон-цен-трический! — и даже ровным счетом ноль внимания на меня, так занят вырезанием своего концентрического желобка: кончик языка высунул, прикусил его и сопит деловито своими безразмерными ноздрями.

Наконец желобок готов.

Во-вторых, надо привязать леску к удилищу. Тут существует много узлов, самым надежным из которых является... А зачем же другие узлы, если есть самый надежный? Каждый узел для своего нужен. А какой нужен здесь? А вот какой: пять раз обмотай, подоткни, продень, затяни; а потом еще: пять раз обмотай, подоткни, продень, затяни. Как зачем два раза?! Ясно, для двойной надежности два раза.

В-третьих, без поплавок никуда! Женя привязывает к леске пенопластовый кусочек и втыкает в него невесть откуда взявшееся перышко.

В-четвертых, надо привязать крючок. Да-да, мы помним, существует много узлов, самым надежным из которых является...

— Нет, — терпеливо и рассудительно объясняет Женя и кивает в такт слогам и подбородком, и оттопыренным указательным пальцем, — для крючка — другие узлы. Тут есть и «канадская восьмерка», и «черепаший узел», и «акулий».

— А есть китовый узел? — спрашивает Фенёк, он-то кита собрался ловить!

— Нет, китового нет, — отвечает ему Женя, а Фенёк досадливо ухает.

Какой же узел выбрать, раз китового нет? Ну не акулий точно, акулы здесь не водятся. Черепаший — забыл, как завязывается черепаший, и по лбу хлоп! Остается «канадская восьмерка». Эту сюда, а эту — сюда, перевернуть, еще раз эту сюда, а эту — сюда и затянуть зубами: просто, крепко и надежно, даже на кита пойдет!

А Фенёк — носом Жене в самые пальцы, чтоб ничего не упустить из того, что Женя этими пальцами сооружает, какие узлы он ими вяжет, и только поухивает время от времени восхищенно. А уж когда Женька насадил на леску кругленькое свинцовое грузильце, сжав его между зубов (в-пятых, насадить грузило), тут Фенёк выдал такое «ух!», что у меня аж сердце раскаленным прутом прижгло.

А в-шестых, а в-шестых, и ничего, все — готова удочка, осталось только закинуть.

Стоит с удочкой и блестит на солнышке, как статуя! Такой он, Женя, иногда бывает — знаете, хочется костяшкой указательного пальца ему по лбу постучать, чтоб лоб его чугунной ванной откликнулся: авось мысль какая у него там, подо лбом, в черепухе его пустой, зародится. Ну то есть нагородил вот он огород с удочкой со своей, а про наживку забыл.

Стучать Женю по лбу я, конечно, не стал, небезопасно это — жилы мои пока при мне, и расставаться с ними у меня ровным счетом ноль желания. Вместо этого я поднял с песка высохший рогозовый стебелек и обломал с двух сторон — получилась отличная сигара. Делаю вид, что закурываю, и говорю:

— Не считите за нескромность, сэр, — говорю, — но позвольте напомнить вам, сэр, что в этом деле совершенно нельзя без наживки, — и все это голосом, будто я в Англии родился и вырос там на болоте среди бешеных собак, докучливых дворецких и котлет из овсянки. — Сэр?

Женя закаменел, передумывает что-то, опять двумя пальцами подбородок чешет.

— Об этом я не подумал, — простосердечно признался он.

— Говорят, в лесу видели труп кабана, сэр, — не унимался я. — В трупе этого замечательного животного вполне могут случиться опарыши, если вам повезет его найти, сэр. Я уверен, эти недостойные представители животного мира как нельзя лучше служат вашим благородным намерениям, сэр!

Ни тени улыбки, дело-то серьезное! Не хочет Женя со мной в английских сэров играть.

— Ладно, — сказал он. — Всем оставаться на местах, я что-нибудь придумаю.

Только мы его и видели! Он так же быстро и размашисто взбежал по обрыву, как только что с него спустился, ну а мы с Феньком остались на своих местах — нам-то что делать?!

Отсутствовал Женя недолго.

— Эй! — раздалось над обрывом.

И снова ласточки, и снова — грай, и снова — чайки; все только что успокоилось и — вот опять.

Стоит Женя на краю, руки вверх тянет, а в руках у него что-то, чего отсюда, с берега, не видно, зажато двумя пальцами.

Снова подпрыгнул на месте и снова — с обрыва в два прыжка.

Левой мне под нос тычет, правой — под нос Феньку. В одной руке — слизень, в другой — червяк. Мне досталось любоваться червяком. А я бы — слизнем, червяка я миллион раз, наверное, видел и никак не меньше, но раз Женя решил, что любоваться мне червяком, буду любоваться червяком.

Фенёк что-то там со своим слизнем ухаёт, а мне уже надоело рассматривать червяка. Он между Жениных пальцев извивается и — больше ничего. Смотрю на Женю, а у него все лицо в разводах, как будто земляных.

— Носом землю рыл? — поинтересовался я.

— Отнюдь, сэр! — отозвался Женя. — Ножом выкопал, — он потыкал червяком в мой нос, — а этого под грибом нашел, — пожамкал слизняка под носом у Фенька. Я думал, бедный слизняк от Женькиных немилосердных жамканий лопнет, а он — ничего, только рогами своими возмущенно крутит.

— Наживки мало, — объявил Женя, — надо экономить.

Он убрал слизняка в карман, располовинил меж ногтем большого и фалангой указательного пальца моего червяка под восхищенное уханье Фенька и отправил одну его половину в гости к слизняку, а вторую — на крючок.

— Смотри, — напутствовал Женя Фенька. — Садись его на крюк так, чтоб борода вся из него вышла, тогда не слетит, и — в путь!

Половинка червяка просвистела перед моим носом и отправилась в реку.

— Теперь — только ждать, — сказал Женя.

Поплавок крепко воткнулся в воду. Мы втроем закаменели, на поплавок смотрим, будто ждем, что сразу и клюнет.

— А сколько ждать? — спросил Фенёк.

— Тс-с-с! — зашипел Женя и — палец к губам. — Тут главное — тишина, чтоб не спугнуть рыбу, — объяснил он шепотом. — И еще — терпение тоже главное. Будем терпеливо ждать в тишине, пока не клюнет.

— Пока не клюнет, — тихонечко повторил Фенёк. И снова: — А когда клюнет?

— Тьфу! — Женя перешел на обычный голос. — Клюнет, когда клюнет, не раньше.

— Не шуми, — шикнул на него Фенёк, — а то всю рыбу распугаешь. Сам же говорил, что главное — тишина.

— И терпение тоже, — вставил я.

Тут уж Женя не нашел слов, что ответить, глазами только сильно моргнул.

— Червяка обплевать надо было, — вдруг вспомнил я.

Опять ладошкой по лбу:

— Забыл! — и Женя выдернул червяка обратно на белый свет.

Мы осмотрели червяка. Жив, здоров и невредим; бодро на крючке извивается, гимнастикой занимается. Фенёк плюнул первым, я — вторым, третий плевок Женин: три плевка — тройная удача!

Скучное дело стоять на берегу и пялиться в одну точку, на поплавок — а многим нравится.

Я постоял между Феньком и Женей, потянулся, зевнул, опять потянулся — скучно, не клюет, перышко закаменело, не шелохнется. Походил-побродил по берегу, песок носочком своего ботиночка поковырял. И вдруг у меня живот скрутило, враз и ни с того ни с сего, скрутило так, что аж холодное мне на лоб выкатилось.

Я пошел вдоль по берегу. Река тут как раз излукой изгибается, сейчас заверну и, считай, спрятался. А живот поторапливает, времени у меня, сообщает, немного. Я послушно прибавил шаг.

Пот по лбу катится, виски мне намочил, аж до шеи достал; а во внутренних такая дичь началась, будто кто холодными пальцами за кишки мои схватился и мнет их, переминает, внимательно-медленно сантиметр за сантиметром ощупывает.

Бр-кр-р-трхх! Эу-у! — выводит живот, а я уже вприпрыжку, только бы добежать до вон того тростникового островочка, что растет недалеко от краешка реки.

Забрался в тростник, распустил пояс брюк, а оттуда на меня вороний глаз как зыркнет! Отлично, листочки его мне сейчас очень пригодятся.

Наконец сел. Как хорошо здесь, в тростнике, будто бы я спрятался в нем от всего белого света. Иссушенные стебельки согласно покачиваются, шуршат-перешептываются, метелочками своими мазок за мазком рисуют легкие, невесомые облачка на небе. Стебельки эти тоненькие, схватишься за такой, тихонечко надавишь, и он хрустнет, а мне кажется, что берегут меня эти заросли крепче самых крепких оград — как так?

Я посмотрел сквозь вдаль: там река плещет. Солнце разбилось в реке миллионом перемигивающихся зайчиков, река облизывает песочек, песочек заполняет собой весь бережок, и вдруг встает стеной обрыв. А на обрыве, а на самой круче, стоят выше неба, а в ветвях у них облака — сосны.

Ах, нет деревьев более красивых и нет деревьев более горделивых, чем сосны; а самые красивые, и самые горделивые из всех сосен — сосны прибрежные, сосны, что растут на высоком, обсыпчатом речном обрыве. Миллион ласточек вырыли здесь миллион гнезд. Снуют-летают ласточки туда-обратно по своим ласточкиным делам, разносится по-над берегом ласточкин щебет, заканчивающийся непременно особенной, какая бывает только у ласточек, трелью — хорошо!

Две сосны — на самом краешке, ровные, стройные; а рядышком еще одна — совсем маленькая. Будто бы те две — мы с Женей, а маленькая — Фенёк.

Только никакие мы не сосны. Мы — трава придорожная. Растем сами по себе, а зачем растем — непонятно, и не объяснит-то нам этого никто — некому объяснить.

Моим родителям не до объяснений — мои родители в Туапсе. Где это вообще и кто так города называет, что за слово такое дурацкое?! Или они в Алуште? Алушке? Они постоянно торчат в своих туапсе-алуштах-алушках — я скоро забуду, как они выглядят. Да, кажется, и уже забыл. Вот, например, были у отца усы, когда он в последний раз вернулся из туапсе-алушты-алушки? Вроде были — или нет? А если и были, то какие: так, переросшая щетина, чапаевские или уже как у Буденного? Нет ответа, позабыл.

А мама? Она же приезжала последний раз совсем стриженная, виски только — так? Или это она давно постриглась, а в последний раз уже отросло — не помню.

А у Фенька есть только мама и, кажется, штук двадцать сестер и братьев. Все мал мала меньше, и только одна сестра у них есть старшая, такая же, как Фенёк, рыжая с головы до пят. И мама у Фенька рыжая, только еще под рыжим красная, особенно нос и глаза. Она почти уже и не говорит, ничего связного, так только: эээ! эй, пди с-сда! — и все в таком роде; что она объяснить сможет?!

А Женька? Где-то же он должен жить, должны же быть и у него родители. Я знаю Женьку миллион, наверное, уже лет и никак не меньше, а где он живет и кто у него родители, не знаю. Женька всегда появляется как бы из ниоткуда и как бы в никуда исчезает. У меня часто бывает, благо мои все время в очередном туалете, но к себе не зовет, не приглашает, а спросить — я почему-то все боюсь спросить его об этом. Что-то нечисто там у Женьки; кажется, и ему не с кем посоветоваться насчет жизни.

Дело сделано, время заметать следы. Ягоду, вороний глаз, я сразу оторвал и ввертел носочком своего ботиночка поглубже в песочек, а теперь оторвал один за другим и листики. Четырех листиков в самый раз, и — прощай, ядовитая гадина!

Я вылез из тростников. Разве так долго я там возился? Вроде недолго, а уж, кажется, вечер.

День неизбежно испаряется, а вместе с ним испаряется и дневная жара. Даже странно, как это получилось, будто летний день закончился незванным осенним вечером; я кутаюсь в рубашкины дыры, но это, конечно, не помогает — бррр!

Солнце налилось, отяжелело; начало тяготиться, к закату клониться. Оно сменило краску, и все, что под ним, тоже перекрасилось. Песочек из желтого — в чуть розовый, река стала глубоким темным монолитом, лента облаков вдоль горизонта — золото в серебряном обое.

Скоро солнце сядет, потемнеют дороги — и как мы? Будем ночлежничать здесь, под голым небом?

Сколько у нас времени? Судя по солнцу, есть два часа, чтоб вернуться. Два часа до заката и еще полчаса сумерек до темноты. Итого: два с половиной часа. Два с половиной — нам не успеть! Да хоть три! Да хоть вместо велосипедов у нас сапоги-скоороходы! Да хоть бежать в них прямо по прямой! Никак не успеем — ехали же сюда мы целый день, да еще и круголяли. У меня от таких перспектив сердце всполошилось, расстучалось и неровно задергалось.

Я рванул к Женьке, чтоб сообщить, что нам кирдык, но вспомнил вдруг, что еще не вымыл руки, рванул к реке, чтоб вымыть, и, не сделав и двух шагов, развернулся и — опять к Жене. А руки все-таки надо — я остановился, махнул на все и пошагал к воде. Пусть смерть, так хоть с чистыми руками!

Набрал в ладони речного песку и протираю его. Руки от холода сразу покраснелись — такая река холодная! Почему она такая? День ведь был жарче жаркого, а она вот все равно! Кажется, сейчас рукой застряну в реке, если и рукой, как ногой, можно застрянуть, а все равно ладони одну об другую тру-натирую — для чистоты. Потом с другой стороны надо — пясть о пясть, снова набираю песку — снова ладони, а вместе с песком у меня между ладоней оказалось что-то длинное, холодное и странное. Я прополоскал находку: да это же чертов палец! Ну головоноее такое, жило еще при динозаврах, а теперь закаменело вот — буквально.

От такой находки у меня сердце опять сердцем застучало. А каков этот чертов палец! Всем другим пальцам за эталон будет! Ровный, длиною с два спичечных коробка, с аккуратненькой канавкой вдоль — чудо! А есть еще?

Я превратил свои руки в грабли, прогребил весь песочек вокруг себя и нашел еще два чертовых пальца: не таких, как первый, эталонных, эти поменьше да покорооче будут, но тоже ничего. Вот так находки! Что может быть лучше? Разве только куриный бог!

Но куриный бог не нашелся, и я завернул чертовы пальцы, все три, в носовой платочек и убрал их в карман. Перепроверил солнце — оно уже начало опасно заваливаться к горизонту, пока я свои клады рыл: пора мне возвращаться, чтоб затребовать у Жени ответ: как он нас до темноты обратно доставит?

А рыбу, рыбу он, интересно, поймал?

Я обогнул речную излучину, и что я вижу?! Никто, конечно, ничего не поймал. И ловить никто ничего даже и не думал. Им, видимо, надоело с удочкой стоять, на поплавок пялиться — я же говорил, скучно это! — они и давай дурака валять, как обычно: такой шалман навели!

Женя барахтается на мелководье, недалеко близко от бережка, бьет по воде всеми четырьмя конечностями, выгибается, задирает голову, зачерпывает ртом воздух и плюхается обратно мордой в воду. Потом — еще и еще. А Фенёк бегает вокруг конвульсирующего Женьки, задирая коленки выше ушей, трясет воинственно палкой, которая раньше была удилищем, а теперь стала гарпуном, над головой и каждый раз, когда Женя выныривает из воды, тыкает в него этой палкой. А брызг от них, брызг! Брызг как от огромного фонтана у нас на главной площади!

И что бы это могло значить? Ну тут все ясно: Женька кита изображает, а Фенёк — удачливого китобоя. Мне даже завидно стало, что не я эту игру придумал.

Фенёк увидел меня, остановился и горячо мне телеграфирует. Ну, я — ноги на плечи и — к ним.

— Вылазь, — кричу я Феньку через рупор ладош, — а то ногой застрянешь!

Фенёк меня и не слушает.

— Кит! — кричит он. — Кит!

Вижу, что кит. Это Женя у него — кит: я все правильно угадал!

— Кит! — снова кричит Фенёк. — Помоги!

Нет уж, спасибо! Я туда ни за какие коврижки не полезу, я в такие игры не играю!

— Во-первых... — начал я, и тут Фенёк как-то, я даже и не понял как, оказался у меня за спиной, подпрыгнул и толкнул меня, да так сильно толкнул, что я непроизвольно пошагал вперед, споткнулся о воду, шагнул еще раз, еще раз споткнулся и, наконец, рухнул лицом вниз. Так я оказался на Женьке.

Я попробовал было слезть с Женьки, но мне не дал Фенёк. Он оседлал меня, уперся мне в лопатки своими лапками и прижал к Жене еще крепче. Если он не перестанет, я подавлюсь водой и утону.

Весьма воинственный из Женьки кит получился. Если Фенёк думает, что я смогу этого левиафана из реки вытащить, значит, плохо Фенёк меня знает: мне ли с Женькой тягаться?! Разве Женя, может, подыграет?

Кит подо мной выгибается и орет на своем китовьем:

— Аэнуэ! Пикаша браг!

Снова выгибается и снова орет:

— Жыуры! Юпакака!

Еще раз:

— Ода-бы-жди! — кричит, глотает воздух и снова носом в реку.

Еще:

— Па-мы-жы!

И:

— По-мо-жи!

— Помоги, — поправил я Женю в самое его ухо, других слов я разобрать не смог.

Фенёк решил выступить переводчиком с китового:

— Помоги достать! — кричит он откуда-то из-за моих плеч. — Женя поймал кита!

Раз Женя поймал, так пусть Женя сам и достает. Стоп! Значит, Женя — не кит?! Женя и есть китобой!

— Женя кита поймал, вытянул, а кит леску порвал и — дёру! — тараторит Фенёк скороговоркой. — Женя — на него, и — вот!

Я, может, и дезертировал бы сейчас, и мне нисколько даже и стыдно не было бы за дезертирство за свое, но Фенёк все крепче и крепче вдавликает меня в Женю, так что думать нечего, чтоб сбежать. А вода такая холодная, прямо жжется! Если у меня сейчас не застрянет нога и я не утону, то завтра утром точно умру от воспаления легких.

Я запустил руки под Женю. Под Женей — что-то холодное, склизкое и очень немиролюбиво настроенное. Я даже не хочу думать, к чему сейчас прикасаются мои руки. Я, знаете, животных, и рыб в особенности, не боюсь, я просто к ним отношусь с настроенностью: хватать голыми руками китов всяких я не особо люблю.

— Прижми к себе! — кричу я Жене.

— Ужо! — воет Женя. — Уже!

Я подтянул ноги и уперся ступнями в речное дно где-то в районе Жениного пояса, сцепил пальцы в замок так крепко, как только смог, чтоб не упустить ни рыбу, ни Женю, рванул и одним движением достал рыбу с Женей из воды — без чуда тут не обошлось, так просто мне бы никогда Женьку, да еще с рыбиной вместе, не поднять.

Диспозиция, значит, такая: Женя обнимает рыбу, я обнимаю Женю и рыбу, а Фенёк сидит у меня на закорках и обнимает меня за шею. Фенёк не смог меня утопить, теперь, вот задуться пытается: как так?!

Вдруг рыба потеряла всяческий интерес к происходящему, поняла, наверное, что пленена — гекина дегуль! — и решила, что проще капитулировать. Она обмякла в наших с Женей руках, но мы все равно держим ее крепко-крепко, к Жениному животу прижимаем: кто знает, может, это у рыбины такая военная хитрость — упасть в обморок как бы: обманет наше доверие, выпрыгнет из наших рук и — наутек.

Фенёк наконец отцепился от моей шеи, прыгает вокруг нас с Женей и рыбой и выкрикивает что-то боевое. А мы с Женей шагаем шаг в шаг к бережку, рыбу несем в обнимку.

И тут рыбина передумала сдаваться, свежий воздух, видимо, ей в голову ударил, и она как давай выгибаться пуще прежнего. Страшный рыбий хвост звонко бьет по голый Жениной груди, рыбина изгибается, виляет, все пытается вдарить хвостом своим Женьке по мордасам, но как ни старается, все никак дотянуться не может.

— К камню! — командует Женя, и мы шагаем к камню, к тому валуну, о который я тогда чуть не разбился.

Мы шагаем, а Фенёк скачет вокруг нас, ухает и всячески нас подбадривает.

Последние несколько метров до валуна мы бежали, потому что рыбине удалось ослабить наши с Женей объятия, и она почти выскользнула у нас из рук. Еще чуть-чуть — и точно выскользнет. И тут Женя такой трюк сотворил! Отпустил ее, но только на мгновение отпустил, отпустил, чтоб перехватить: рыбина-то гладкая, скользкая, даже за хвост ее не удержать, а Женя ей пальцами под жабры и вцепился в них крепче крепкого. Рыба удивилась такому повороту сюжета, глаза тарачит, ртом хлопает: как это так ее переиграли?! Я расцепил пальцы, отпустил Женю, а Женя ка-а-а-к крутанет рыбину у себя над головой! Рыбина не преминула воспользоваться своим положением и заехала-таки хвостом по мордасам, только не Жене, как сначала собиралась, а мне. Так вот, Женя крутанул рыбину, рыбина шаррахнула меня по щеке, и Женя припечатал ее к валуну. Рыба обрадовалась своей маленькой победе, боевого духа у нее сразу как-то прибавилось, и она с удвоенным энтузиазмом принялась колотить хвостом по валуну.

— Камень! Нужен камень! — кричит Женя, а сам от рыбьего хвоста все уворачивается.

А я сам стал как камень, понимать-то понимаю, что Женя от меня чего-то хочет, а чего именно, понять не могу. Вот же камень. Так и стою, смотрю на Женю глупы-

ми глазами, а ладошку к щеке, по которой съездила рыбина, прижимаю. В ушах тоненько гудит, мысли одна с другой не вяжутся, а щека все горит-разгорается. Вот почему я тупой такой вдруг сделался, от рыбьей пощечины у меня в черепухе все со своих мест съехало!

— Камень! — снова кричит Женя.

И вдруг в моей руке отказывается голыш, обычный речной голыш размером с картофельный клубень. Голыш вложил мне в руку Фенёк.

Так вот какой камень Жене надобен!

— Камень! — кричит Женя, рыба у него там совсем теперь распоясалась, стоит носом на камне и хвостом во все стороны машет.

Я протянул руку, Женя схватил камень, замахнулся, подскочил и одним лихим ударом отправил рыбину в смертельный нокаут — бора мевол! Рыбина выгнулась, хлюпнула и безвольно распласталась на камне.

Страшная тишина наступила вдруг и сразу, будто бы весь белый свет ужаснулся свершенному убийству, только мелкие волны шелестят, и кажется, что где-то далеко — далеко-далёко.

Я обернулся, посмотрел на Фенька. Он стоит, закаменел весь, на рыбину смотрит. Рот открыт, мелкие, по-зверушачьи неплотные зубки, всегда желтоватые, теперь в свете закатного солнца кажутся розовыми, будто бы он только что от сырого мяса откусил. Глаза его по блюдцу, а белки — тоже розовыми стали. Страшно смотреть на Фенька!

Посмотрел на Женю. Он стоит у валуна, в руке, отведенной назад, по-прежнему зажат голыш. Спина его вытянута и выгнута, и сам он вытянут и выгнут, стоит неестественно, бедрами вперед.

И хоть каждый из нас, пусть и невысказано, всем сердцем жаждал этого убийства, теперь, когда оно свершилось, наши сердца закаменели, будто забыли, как стучать и гнать по нашим телам жизнь. Наши сердца крепко задумались, задумались о том, что только что случилось, о том, что смерть, и о том, что сделанного уже никогда не воротить.

Смерть.

Мальчики — известные убийцы! Мы убиваем много и с радостью! И умираем мы много и тоже с радостью. Ежедневно полнится земля трупами все новых и новых мальчишек, убитых из пистолетов-маузеров, мазерных пушек и прочих удивительных видов оружия такими же мальчиками, как и они сами.

Убивают и умирают мальчики удивительно разнообразно! Я знал одного мальчика, его сразил другой мальчик арбалетной стрелой. Насмерть, конечно, сразил: стрела на присосочке торчала у несчастного прямо промеж глаз. А назавтра того же мальчика другой мальчик изрезал лазером на маленькие кусочки. Не везет, называется.

Так что нам, мальчикам, смерть очень знакома, каждый из нас умирал миллион, наверное, раз и никак не меньше за свою недолгую жизнь. Мы, может быть, знаем о смерти побольше самих мертвецов!

А сколько мальчишеских жизней забрала ужасная Бетельгейзе! Еще и гестапо не дремлет, и говорят, что в лесу на суках партизан висит больше чем шишек.

Нас, героев, убивали — мы, герои, умирали.

Дело, в общем-то, обычное, каждому мальчику очень привычное.

Есть смерти и более настоящие. Оторвать сенокосцу ноги и бросить его кругленькое тельце умирать от голода — легко. Завитринить жука под бутылочное стеклышко и забыть — еще легче. А сколько ящериц перебито! Удача для ящерицы, если в маль-

чишеских руках останется только ее хвост, но какая беда для мальчишки! Ладно, будем честны, не такая уж и большая: хвост извивается, зажатый за кончик между двух пальцев, бьет, как кнутик со своей собственной волей, будто по волшебству — тоже ведь хорошо! Но все-таки лучше поймать всю ящерицу целиком, тогда можно и хвост самому оторвать, и шкуру с нее спустить — весьма ценная, ящеричные шкурки — валюта в кругах знатоков. А с мясом-то, с мясом что делать? Сожрем? Желудок наружу просится от таких предложений. Тогда давай принесем мясо ящерицы в жертву богам охоты, раз они так сегодня нам бла... благо... бла-го-во-ли-ли. Вот это ты молодец, давай!

А еще настоящей смерть есть? Есть!

У подъездной двери — гробовая крышка всем на обозрение, производит сильное впечатление. А ты кружишь вокруг отмеченного смертью подъезда, чтоб не прозевать покойника: покойника-то не каждый день показывают. И вот наконец по елочной дорожке спускается покойник во своем гробу, а медный оркестр ему навстречу протяжно и тошно гундосит. Гроб лежит высоко на плечах у черных палто, виден только покойнический лоб, да может быть и кончик носа, если нос у покойника выдающийся. Лоб и кончик носа — кажется, немного, а: я сегодня не усну! У, мертвец — страх!

Смерть-игра. Смерть-смерть. Смерть-конец. Смерть-смерть-смерть.

И это мы не от черствого сердца такие. У многих из нас сердца нежнее сбитых сливок! (Тссс! — я этого не говорил!) Нас так влечет смерть, потому что через нее мы узнаем саму жизнь.

Редко кто из нас сталкивался именно с той смертью, поэтому мы как будто бы привиты от нее, той самой, а раз пока у нас есть иммунитет от смерти, мы будем умирать и дальше, снова и снова, будем умирать, пока бьются наши сердца, будем умирать, пока живы! А вместе с нами обречены умирать из-за наших пытливых умов простые муравьи, муравьи с крылышками и муравьи с кислыми задницами; червяки, гусеницы и шагомерки; бабочки: капустница, лимонница, адмирал, удивительная павлиний глаз и очень на нее похожая крапивница; пауки и сенокосцы; жуки: майский, пожарник, дровосек и клоп-солдатик (*Pyrthocoris apterus* — согласно справочнику); и лягушки, и ящерицы; даже кроты, а иногда — и рыбы.

Первым ожил Женя.

— Закат! — затараторил он. — Нам нужен костер, пока не стемнело! Собирайте сухие палки, ветки и все, что горит. И раздевайтесь! В мокрой одежде хуже, чем совсем без.

От Женькиного тарактеня ожили и мы с Феньком. Все разделись, побросали мокрую одежду прямо на песок у валуна и — кто куда.

Женя притянул к валуну ту огромную корягу с острыми ветками, Фенёк слетал на обрыв и вернулся через минуту с ворохом сосновых веток, Женя за Феньком слетал туда же и принес еще больше, а я насобирал сухих травинок на растопку.

Стоим, смотрим друг на дружку: кто будет собирать костер? Фенёк исключается — разве Фенёк умеет собирать костер? Наверное, нет, маленький он еще, такому маленькому никто костер не доверит. Я или Женя? Женя или я? Собирать костер — ответственное дело. Ответственное и почетное. Тут нужны и знания, и умения тоже нужны. Конечно, Женя справится с этим лучше меня — да он с чем угодно лучше меня справится! — но и мне хочется показать, на что я способен.

Я подумал, передумал да вдруг как решусь: хватит с Жени подвигов на сегодня, теперь моя очередь!

— Я соберу костер! — говорю, будто меня кто спрашивает.

Женя не стал спорить, подбородком в знак согласия кивнул. Ну само благородство, противно аж!

Комок сухих травок, которые насобирал, я положил сначала. Обломал кончики сосновых веток и сложил из них над травками шалашик, а из веток потолще вокруг шалашика соорудил колодец — красота!

Фенёк стоит на коленках и локтях, задницей своею небеса пугает, а подбородок в ладошки положил, внимательно смотрит, что я тут колдую. Женя на корточках, тоже смотрит, тоже внимательно. Что я ни сделаю, он бесслвно как будто бы комментирует: Так, правильно, очень даже неплохо, — а сам кивает подбородком, и очень, видно, ему нравится мой костер.

Костер мой и Феньку нравится, он временами восхищенно поухивает. И мне мой костер нравится. Да и кому бы он не понравился, ведь сложен он по всем правилам костровой науки!

И вот костер готов, надо разжигать. Хлопнул себя по голой ляжке там, где карманы обычно у штанов, и вспомнил, что спички-то я с собой и не взял! Позор! Какой мальчик может забыть взять с собой спичечный коробок? Сами знаете какой, стыдно и сказать! Да вот только если бы я не забыл и взял бы с собой спички, то и это не помогло бы: все равно бы их измочил, пока доставал с Женей рыбину из реки. Вот и сгорели без огня все мои старания! Нет у меня спичек. А вот у Жени, наверно, есть, и даже не наверно, а точно есть! И даже, скорей всего, сухие, он-то уж точно все продумал, все передумал. Вот и будет теперь разжигать мой костер Женя, и вся слава от моего костра теперь ему, Жене, достанется.

Я глаза крепко-крепко сжал, чтоб не разрыдаться, но кажется, что это не поможет, разрыдаюсь сейчас, как девчонка, и опозорюсь совсем уж окончательно. Вот вроде бы и не привыкать мне позориться, а все равно каждый раз стыдно!

Почуял какое-то движение у себя под носом — разве началось, потекла первая сопля рыданий?! Я втянул ноздрями воздух, чтоб соплю обратно в себя загнать, и почувал знакомый запах. О, этот запах любому и каждому мальчику очень знаком, его ни с чем не спутать. Это запах волшебства, запах самых опасных приключений и самых страшных преступлений запаха. Это запах спичек.

Разжмурился, а мне в нос Женя спичечным коробком тыкает. Спички у него в коробочке шуршат, пересыпаются, и нет никаких сомнений, что они сухие: в рюкзаке они у него, наверно, были, вот и не измокли. Протягивает мне Женя спички, а я и поверить не могу — я бы, может, и не поделился, и забрал бы всю славу себе. А Женя нет, делится, спички мне отдает. Вот теперь-то я уж точно разрыдаюсь!

Я силой мысли завязал веревочки, которыми глаза к черепухе крепятся, в узелки, чтоб по ним ни одной слезинки не просочилось, и взял коробок. Самым крепким голосом говорю:

— Спасибо! — а получилось, будто пискнул.

Открываю коробок, пытаюсь выковырять из него спичку, а пальцы вдруг мягкими стали, как бы из теста сделанными, и не ухватить мне ими спичку. Я и так и эдак и — наконец смог. Зажал спичку между большим и указательным, а чиркнуть ей все никак с духом не могу собраться.

О, спички! Сколько раз вы позорили меня! Гасли в непроглядной темноте в тот самый момент когда; гасли на ветру и, конечно же, опять в тот самый момент; гасли даже просто так, оттого будто только, что зажглись в моих руках — гасли. Не опозорьте меня сейчас, спички! Не опозорите? Конечно, опозорят, кто бы сомневался да только не я!

Чиркнул. У-у, гори, вражина! — пригрозил я спичке, а она на мою угрозу ровным счетом ноль внимания да еще и сломалась.

Это ничего, что сломалась. У каждого есть три попытки, чтоб распалить костер. У каждого — и у меня тоже. Уж с трех спичек даже и я смогу — а как нет?

Я кое-как выудил из Жениного коробка вторую спичку. Чиркнул — загорелась. Прикрывая ладошкой от ветерка, аккуратно поднес спичку к самой сердцевинке костра, к моим сухим травкам; подпалил.

Закурилось! Закурилось! Разве закурилось?! Синенький дымок юркнул в комочек травки, как в норку-гнездышко, но тут же выскочил обратно и радостно закружил. Травка занялась — пляшут по-над ней яркие огоньки.

Я победно посмотрел на Женю, Женя кивнул мне в похвалу. Посмотрел на Фенька, а он — на мой костер смотрит, а мордочка у него почему-то растерянная. И тут я вспомнил, что костер-то раздувать надо, пока он хорошо не разгорится — это я на радостях, что запалил-таки костер, забыл, а как вспомнил, что раздувать надо, упал пухом на песок, носом — в костер, в легкие — воздуху, губы — трубочкой и — дую. Только вот дуть-то уже и незачем — я все прохлопал: травка сгорела, а веточки от нее не занялись. Ну что я за...

Теперь-то уж точно я разрыдался бы, ведь позорней уже и быть не может, но меня спас Фенёк. Фенёк протянул мне две горсточки сухих, коричневых сосновых иголок: он, Фенёк, их как раз для такого случая заготовил.

Я положил сосновых иголок туда, где сереет еще теплый пепел от моей травки. Достал спичку — третью, последнюю. Вот и станет теперь понятно, жить мне дальше на белом свете или лучше не стоит.

Чиркнул третью; загорелась. Поджег сосновые иголки; подождлись, затрещали, задымили густым и смолистым. Я губами так близко, что вроде как пламя целую. Дую тихонечко, чтоб только не! Пусть губы мои сгорят, а костер я разведу!

Я отпрянул, едучий дым набился мне в глотку. А костер горит: от иголок занялись веточки, горят хорошо, горячо. Наверно, уже не погаснет, можно не беспокоиться.

Пока я сооружал по всем правилам научного розжига крышу из веток потолка над колодцем моего костра, Фенёк развесил на острых ветках коряги нашу одежду.

Как лучше? Женину майку повыше, чтоб не сгорела, мою кучу дыр можно и ближе к пламени: дыры сгорят — не жалко! Этот носок — на эту ветку, а тот — на ту, а потом поменять: этот — на ту, а тот — на эту. А чьи это трусы: ха-ха-ха, где ты такие взял? Отдай! Да они еще не высохли — ха-ха-ха! Отдай, говорю, не высохли, и не надо! Ботиночек, у кого горит ботиночек?! Носом его, ботинок, в песок! Разве уже высох? Высох, да только подгорел! И раздосадовано: ух!

— Мои сапоги в костер не ложь, они пластмассовые, разом сгорят! — это у Жени сапоги пластмассовые.

— Не ложи, — поправил я Женю.

Женя на меня тяжело посмотрел. Я знаю, акселерату не нравится, что я его все время поправляю, а я поправлял и буду поправлять, пусть хоть все глаза на меня высмотрит.

Мы с Феньком заняты каждый своим делом, а Женя ничем не занят. Стоит голый во весь рост, красный, как медный в свете костра, руки на груди связал, смотрит, как мы с Феньком возимся, как тушим мой ботинок, как я отбираю свои трусы у глупого Фенька и как он мне их не отдает, смотрит и молчит — ни слова, статуей закаменел!

И тут я заметил, что у Жени весь живот в ранах, а из ран — кровяница.

— Ты смотри! — я аж крикнул от восхищения.

— Ух! — ухнул Фенёк.

— Я знаю, — сказал Женя, распустил руки и устался на свой живот.

И ни одной черточкой Женя не дрогнул, хотя раны на животе у него такие глубокие, что кажется, и до внутреней до Жениных там уже неглубоко осталось.

— Это рыбина, — объяснил Женя свои раны, будто бы мы сами не догадались, откуда они взялись.

— Надо перевязать! — снова кричу. — А то он умрет от потери!

— Чего потери? — спрашивает Фенёк.

— Крови!

Надо же, у Жени кровь как кровь, как у меня кровь и как у любого другого мальчика, Женина кровь. А я-то думал, что у него там жидкий свинец по венам пульсирует!

— Дай мою майку, — просит Женя Фенька.

— Она еще не совсем успела высохнуть, — сообщает Фенёк.

— Неважно, — говорит Женя, — давай.

Фенёк снимает Женину майку с корягиной ветки и отдает ее Жене.

Женя повертел раздумчиво свою майку, укусил ее снизу и оторвал от нее полосу. Так прикладывает оторванный от майки кусок к себе и так, а все никак у него не получается обернуться им, как если бы бинтом. Пришлось мне. Я сказал Женьке нарвать еще полосочек, сколько будет.

Я обтер Женины раны своей дырявой рубашкой — и что это за раны! Любой и каждый мальчик захочет заполучить такие, да вот только достаются они не любому и каждому мальчику, а только самому-самому!

— А они пройдут? — спрашивает Фенёк, ему, Феньку, тоже нравятся Женины раны.

— Должны, — говорю.

— Жаль, — разочарованно ухает.

— Жаль, — подтверждаю.

Я стер всю кровь, теперь надо забинтовать Женькино пузо. Мне рук не хватает, чтоб Женьку обхватить, такой он бабаб, вот я и бегаю вокруг него, его, бабаб, обматываю. Мотаю, мотаю — ну прям как мумию обмотал.

— Есть еще? — спрашиваю.

— Нет еще, — отвечает Женя. — Рукава только остались, — сообщает, — и ворот.

— Ну, тогда все, — говорю.

— Все? — глупо переспрашивает Женя.

— Все, — подтверждаю.

Вообще-то, я Женю хорошо забинтовал, ленточек хватило в самый раз. Забинтован — почти что вылечен. Об этом я Жене так и сказал.

— Не помрешь, так будешь жить, — говорю, — а как нет, так в таком виде и в гробницу не стыдно: честь по чести замотан и лучше любой мумии! Самый настоящий Нахуводоносор Восемнадцатый из Сороковой династии Серединного царства, три тысячи пятьсот тридцать седьмой — три тысячи пятьсот тридцать третий год до нашей эры — выпалил я так, что даже задохся.

— Мумия! — подхватил Фенёк, он только про мумию и понял. — Мумия!

— Мумия! — кричу я за Феньком и пальцем так в Женькин живот тычу.

Женя сдвинул брови, вытянул руки вперед и двинул, раскачиваясь, на меня — вроде как взаправдашнюю мумию изображает. Вселяющую ужас, устрашающую, смертоносную мумию! Кажется, что и шутит, и Фенёк думает, что Женя шутит — смеется! А я-то вижу: не шутит, а только притворяется, что шутит. И вместо благодарности я сейчас окажусь задницей в своем же костре! Надо что-то придумать, чтоб перевести Женькины мозги на другую линию.

— Люди! — как закричу во всю ивановскую.

Женя от такого аж закаменел — не ожидал.

— Люди честные! — хватаю Женю за его правую руку и вверх тяну, как когда судья показывает победителя в боксе. — Поприветствуем героя!

Женя шарами лупает и ничего не понимает — у меня получилось оглушить его!

— Ура! — кричит Фенёк. — Поприветствуем!

— Убил кита, — кричу, — чтоб накормить страждущих, ценой... — воздуху доглатываю, а то не хватило.

— Ценой! — радостно подтверждает Фенёк.

— Ценой живота своего, — доканчиваю я. — Ура!

— Ура! — хлопает в ладоши Фенёк.

А Женя вдруг так растерялся, будто и не понимает, разыгрываю я его или всерьез его, Женю, героем объявляю — а как и не понимает?! И такое у Жени лицо сразу сделалось, что оставаться серьезным нет больше никакой возможности. Поэтому я хватаю Феньку и подбрасываю его. Фенёк кричит: «Ура!» — а я ловлю Феньку и кидаю его Женьке. Теперь Женя его ловит, а Фенёк снова: «Ура!» И еще раз, и еще. По всем правилам Женьку, конечно, надо было бы подбрасывать, а не Феньку, да кто ж его, Женьку, подбросить-то сможет?!

Но Женя не расстраивается, что мы Феньку вместо него, Жени, на руках качаем. Фенька даже и веселее выходит: вот какой он, Фенёк, легкий, вот как он, Фенёк, высоко подлетает.

А Фенёк все выше со своим «ура!» подлетает, выше и еще. И вдруг Женя родил:

— А давай его через костер? — предложил он.

— Давай! — радостно согласился Фенёк и снова: — Ура!

Хорошо, что Фенёк оказался в моих руках. Я тут же спустил Феньку с небес на землю.

— Никаких через костер! — строго сказал я.

Да так строго сказал, что Женя даже смутился своей придумки. Стоит, гриву свесил, пальцы на ногах со всей тщательностью рассматривает и вдруг:

— Рыба! Мы про рыбу забыли! — и на меня бесстыже так, будто это я виноват, что мы про рыбу забыли.

А я не виноват, поэтому мне хоть бы хны.

— И что нам с ней делать? — спрашиваю.

— Ясно, есть! — выпалил Женя.

Я посмотрел на рыбину.

— Как есть, она ж сырая? — говорю.

— Мы ее изжарим! — воскликнул Женя.

Рыбине такое предложение не понравилось, она поежилась своим колючим гребнем.

— На чем изжарим? — спрашиваю. — Сковороды-то у нас нет, — говорю, а сам одним глазом — на Женин рюкзак: вдруг там, в рюкзаке, и сковорода есть. Сколько всего полезного Женя извлек сегодня из своего рюкзака, почему бы Жене не утвердить славу героя окончательно и не вытащить из своего волшебного мешочка сковороду как раз в тот момент, когда она понадобилась?!

Но нет: чего-чего, а сковороды там нет — Женя это сам признал. Да только сковорода и не нужна!

— Прямо на костре и изжарим! — радостно сообщил Женя.

Рыба на это его заявление никак не отреагировала, а вот я на ее месте как раз и насторожился бы.

Женя снова достал свой нож, раскрыл его и подошел к валуну. Мы с Феньком — к Жене, смотреть, чего он делать собрался.

Не такой уж и страшный у Жени нож, и не такой уж глубокий у Жениного ножа кровосток оказывается, когда Женя не в тебя своим ножом метит!

Женя схватил рыбину за хвост и одним точным движением, будто бы делал такое уже не раз, вспорол ей брюхо до самой шеи. Рыбина и не шелохнулась, а вот Фенёк аж подпрыгнул.

— Ух! — восхищенно ухнул Фенёк.

— Ульк! — улькнуло мое горло, а мой кадык соскользнул вниз по шее, застрял где-то в глубине да так там и остался — кажется, меня сейчас вывернет!

Женя, довольный произведенным эффектом, одной рукой раскрыл вспоротый живот, а другой одним махом вырвал рыбы внутри наружу. Фенёк еще раз восхищенно ухнул, а меня сейчас точно вывернет.

Но я стерпел. А вот стерпеть, что Фенёк на каждое Женино движение восхищенно ухает, не смог.

— О, жрец благородный! — заговорил я самым раскатистым голосом, какой только смог из себя выдавить. — Дай свой кинжал, оракул гадать желает!

Женя хлопнул глазами и послушно протянул мне свой нож: мне, видимо, снова удалось оглушить Женю. Я принял оружие благородного жреца и, затолкав тошноту поглубже в глотку, поковырялся лезвием в рыбьих внутренях.

— А ты умеешь гадать? — удивился Фенёк.

Тут настала моя очередь кивнуть вместо ответа, умею, мол; я и кивнул значительно, и ничего не сказал. То есть я это потом уже подумал, что так надо было сделать, а на самом деле, когда Фенёк меня спросил, я зарычал:

— Всякий оракул умеет гадать! — заверил я Фенька, который следил за движениями ножа, расковыривающего рыбы внутри, положив подбородок на валун.

— А кому будешь гадать? — спросил Фенёк.

— Тому, кто извлек из чрева кита эти дары! — заявил я.

— Дары? — усомнился Женя.

— Древние боги в дар ниспослали нам ту трепуху! — объяснил я, но получилось не очень убедительно — Женя поморщился.

— Итак, — объявил я, — время судьбу вопрошать!

— Чего делать? — не понял Фенёк.

— Предсказывать сейчас будет, — предположил Женя.

— Сначала обратимся к прошлому! — срезал я Женю. — Печень! — сказал я, наугад тыкнув в какую-то студенистую субстанцию. — По цвету ее если судить, то сдается, герой наш не ведал ни разу прекрасного общества дам!

Женя скривился ртом и выразительно на меня посмотрел. Фенёк задал уточняющий вопрос про «общество дам», и чтоб не раскрывать значение моих слов и не вдаваться в подробности, Жене пришлось быстренько согласиться, что не ведал, и признать, что сегодня оракул проницателен, как никогда прежде. И все бы хорошо, да только Женя прибавил свои сомнения насчет того, сможет ли оракул быть таким же проницательным и завтра, потому что для него, для оракула, это самое завтра может и не настать.

Я решил не усугублять и обратился к будущему.

— Теперь заглянем туда, куда смертных всех тянутся взоры! — объявляю.

— Куда это? — Фенёк снова не понял.

Женя тоже не понял.

— В будущее! — объяснил я.

Я выделил из массы рыбьих внутреней что-то коричневое и продолговатое.

— Это легкое! — уверенно заявил я. — Легкое это предскажет, что будет с нашим героем!

— Балбес! — перебил меня Женя. — У рыбы легких не бывает, рыба жаброй дышат!

Ну почему я такой отсталый?! Как же меня угораздило с легким-то! Это, наверное, даже Фенёк знает, что рыба жаброй дышит, и как мне теперь?

— Не перечь мне, о жрец! Оракула тайны пока не доступны тебе, — выкрутился я, — пусть ты и мудр, и умен! — добавил я на всякий случай.

— А о чем говорит легкое? — спросил Фенёк.

— Вижу, что судьба испытаний принесет герою немало!

— Ух! Это как сегодня — испытаний? — уточнил Фенёк.

— Таких, как сегодня и многим даже страшнее! — завопил я, вознеся руки к небу. — Страшные ждут его испытания, вот что я вижу!

— Ух! — снова ухнул Фенёк.

— Славу твою будут помнить твои и дети, и внуки! — пообещал я Жене грозно. — Но будет краток твой путь, как этот кишок, — я тыкнул ножом куда-то неопределенно, — смерть же — ужасна! Она устроит соплеменников наших, известных воспетым в легендах бесстрашьем! Вижу я это по... — я замялся, потому что не смог с разгону придумать имя бесформенному рыбьему органу, в который воткнулся кончик Жениного ножа, — жижица желтая все это мне рассказала!

Это триумф! Фенёк зачарованно разглядывает рыбы внутренности и ухает полусшепотом о нелегкой Жениной судьбе, сам Женя стоит, стиснув зубы, и ничего против сказать не может. Но мне нужен финальный аккорд, что-нибудь такое яркое и эффектное, что заставило бы и Фенька, и Женю навсегда запомнить, как удачно я сегодня расконцертичился.

Пузырь! Двойной, одна часть поменьше, а другая — побольше, рыбий пузырь! Вот он-то мне сейчас как нельзя кстати!

Я размахнулся и что было во мне сил ударил по пузырю. Пузырь не подвел! Пузырь превзошел даже самые смелые мои ожидания! Пузырь выстрелил, да выстрелил так громко, что все разом вздрогнули. Даже рыбина — она-то уж могла бы и знать, что такое рыбы пузыри! — и та подскочила на камне.

— Как ты так бабахнул? — выдохнул Фенёк. — Я чуть было не испугался даже!

— Вол-шеб-ство! — торжественно и в три слога заявил я и развел руками.

— Ух! — восхищенно ухнул Фенёк.

— Ой да!.. — воскликнул Женя, сгреб с валуна рыбы внутренности и запустил ими в костер.

Они там затрещали, зашипели, и над костром образовался пар до того вкусный, что у меня заурчало в животе, но не так, как тогда, а заурчало по-доброму. А у Фенька от пара слюни потекли: прямо с губы свисает большая слюня, будто бы как у собаки. А Фенёк на слюню эту ровным счетом ноль внимания, нос задрал и пытается побольше из воздуха того вкусного пара втянуть. Даже Женька! Даже Женька губы облизал, как когда на вкусненькое облизываются, и почесал закутанный в бинты живот. Вот такой этот пар, и сразу стало понятно, как же мы все проголодались: кита бы съели!

Теперь, конечно, Женина очередь выступать. Я, может быть, тоже смог бы рыбину в костре изжарить, да только не знаю как. А вот Женя знает! Он разворошил костер удилищем, отодвинул на края ветки так, чтоб в центре остались только угли, и положил на угли эти рыбину.

Как это рыбы умеют жить после смерти так удивительно долго?! Вот уж и без внутренностей, вот уж и на углях одним боком, а все жабрами хлопает, пусть теперь тяжело и без всякого на то желания, а все равно хлопает и глазом к небу тянется — мертвым, а совсем будто как живым еще!

— Как это она так, еще живая? — спрашиваю я Женю.

— Она не живая, — отвечает он. — Она это просто по привычке.

Рыба наконец совсем затихла: испустила последний дух, и он, покинув рыбину, отправился на небеса к рыбьим праотцам.

Женя обстругал ножом две тонкие сосновые палочки, аккуратно подпихнул их под рыбину и, действуя палочками как рычагами, очень ловко перевернул рыбину на другой, еще не прожаренный, бок. А тот, прожаренный, который теперь сверху оказался, покрылся ужасающе аппетитной корочкой: чешуйки монетками зазолотились, а на чешуйках этих, на монетках, угольки маленькие алым дышат. А как от костра повеяло! Намного вкусней от костра повеяло, чем когда Женя выбросил в него рыбы потроха. И тут у нас дружным и слаженным хором запели животы голодную песню.

Сидим, глаз с жарящейся рыбины не сводим. Я даже не моргать стараюсь, потому что кажется, если моргнешь, вдруг исчезнет рыбина из костра. И понятно, что никуда она не денется, не убежит жареная обратно в реку, а я все равно вот.

— Готово! — объявил наконец Женя.

Я ничего не сказал даже на это Женино «готово!», а вот живот мой, предатель мой, очень бурно отреагировал, заревел, как воздушная тревога.

— Сейчас всех накормим! — пообещал Женя моему животу. — Не реви! — это он уже мне.

— Я не реву! — сказал я. — Это дым глаза ест.

Это я не от голода плачу и не от дыма — соврал, это у меня, оказывается, слезы потекли оттого, что я караулил рыбину не моргая. Ну и очень даже кстати — слезы. Всем будет пресно, а у меня есть чем рыбину посолить.

Женя с помощью тех же палочек выудил рыбину из костра, а костер сгреб обратно к центру, взял нож и аккуратно снял кожу с бока рыбины. А под кожей! а там! — белая с серой полосочкой посередине рыба мякоть. Ну, живот опять рулады и заголосил.

Женя знаком приказал нам ждать и вынул из своего рюкзака очередной коробочек.

Сколько у Жени в рюкзаке коробочков? Кажется, на каждый случай коробочек у него припасен. Этот вот с солью, чтоб нам рыбу вкуснее было — слезы мне не пригодились. А какая самоуверенность, какая самоуверенность! Больше Джан-ман-ланг... Джо-мон-лун... Эльбруса самого больше Женина самоуверенность! Ладно — коробочек с лесочками и крючками. Ладно — коробочек со спичками. Но с солью-то, с солью! Женя, значит, и не сомневался, что поймает, наверно знал. А как не поймал бы? А такого и быть не может, чтоб Женя — и не поймал. Каждый кит почтет для себя за честь быть выловленным таким героем, как Женя!

— Рыбу надо есть аккуратно! — предупредил нас Женя. — Берешь рукой, — и он показал, как отламывать от рыбы, — дуй, чтоб не горячая, — подсказал Женя, — посоли, — Женя достал двумя пальцами, указательным и большим, из коробочка чутка соли, поднес кусочек рыбины к носу и там только посолил, потеряв кончиками пальцев друг о дружку, — а теперь кусай вот так, а тут держи крепко, — казалось, что его лошадиные зубы откусят сразу много, но Женя удовлетворился удивительно маленьким кусочком. — Это можешь есть, — и Женя зажевал, — а тут — смотри! — кости! В этом весь фокус, — продолжал Женя свою лекцию, перемежая слова оглушительным чавканьем, — чтобы кости остались! Теперь вынимай их и снова кусай — Женя так и поступил. И жует, жует, и чавкает, чавкает. Наконец: — Все ясно?

— Все ясно, — ответили мы с Феньком.

— Тогда ешьте, — разрешил Женя.

Без Жениной лекции я бы, конечно, не сообразил, как рыбу есть! Что я, есть не умею! Умею, и еще как! Я отломил кусок рыбины, посолил и беспечно отправил в рот. Какая-то кость тут же иголкой вкололась мне в язык — я чуть не выплюнул все, что во рту у меня было.

Я запустил пальцы в рот, нащупал кость и вынул ее; Женя заметил это.

— Ты неправильно ешь! — Женя включил свой рассудительный голос. — Смотри!.. — начал он.

— Да понял я, понял! — перебил я его, чтоб не приставал, кинул еще один кусок в рот и старательно зажевал, чтоб Жене было видно, что я и без его лекций справлюсь.

Справлюсь? — не тут-то было! Да там что, одни только кости и есть?!

Я понял, не знаю как, просто понял, что огромная кость стала у меня поперек горла. Я схватился за шею, вскочил на ноги, языком ее пытаюсь вытолкать, да не могу ее никак языком. Распахнул рот, засунул в него руки по локти, пальцами рот обшариваю, а кость ухватить все не могу. А как я сейчас задохнусь?! А как кровь горлом и от этого смерть?! А как проглочу я кость эту, а она мне все внутри понапротыкает, и — снова смерть?!

Голова у меня сразу отключилась. Зато включился животный инстинкт и подсказал мне, что делать. Я воздух из себя толкаю, чтоб вместе с воздухом и кость вытолкать — не получается кость вытолкать. Я скачу как бешеный — вдруг вывалится? Скачу, скачу, а она все не вываливается. Я как уж на сковороде — ничего другого мне тот инстинкт не предлагает, — и петляю пузом по песочку. А в глазах темнеет, а в глазах — вот уже совсем темно.

Женя сначала наблюдал за мной безразличными глазами, подумал, наверное, что я как всегда. Потом вдруг понял, что я не как всегда, что я — как только теперь. Понял еще, наверное, что я костью подавился, потому что я за горло все хватаюсь, и как только он это понял, глаза его из безразличных сделались сразу героическими, такими, знаете, глазами пожарные смотрят на пожар, в который им сейчас предстоит войти, а на фоне — музыка. Дальнейшее не заняло у Жени и секундошки. Он вскочил, поймал меня за голову, подтащил к костру, придавил мне голову коленом, чтоб я не дрыгался, раззявил мне рот двумя руками, залез туда с головой, нашел кость и вытащил ее из моего горла.

Я лежу на земле, шею отпустить не могу, отдышиваюсь и слушаю невероятно спокойный и очень рассудительный Женин голос:

— Рыбу надо есть аккуратно, а то костей наглотаешься, и будет краток твой путь, смерть же — ужасна!

Мне пришлось выслушать лекцию о том, как следует есть рыбу, еще раз.

— Повторяю для двоечников, — попытался пошутить Женя и повторил для меня все от начала и до конца.

И снова:

— Все ясно?

— Все ясно, — буркнул я, но есть больше не стал, опасное, знаете ли, это дело — рыбу есть, мне моя жизнь дорога, и пока я не собираюсь с ней расставаться.

Сижу пристыженный, комкаю кусочек рыбины в своих руках, пытаюсь все косточки вынуть. Вынимаю, вынимаю, а там еще и еще. Кажется, что одну достал, а вместо нее две новых, как по волшебству, выросло. Зато пахнет! — как пахнет! — так пахнет, что вроде и поел.

— Вкусно! — ухает Фенёк.

У Фенька вся мордочка в рыбьем жире, блестит.

— Вкусно! — подтвердил я Жене в благодарность за мое спасение.

— Вкусно! — отозвался Женя.

Женя сыт и вполне собой доволен, своим подвигом и тем, как он лихо меня спас, и по Жениному виду это очень чувствуется — ну, что он собой доволен.

И вот день погас, огромный шар солнца свалился в пропасть за горизонтом, и вместе с днем закончился и Женин подвиг: рыба съедена, только башка, плавник и хвост от нее остались, да и те сейчас в костре сгорают.

Мне пришлось топтать к реке руки мыть. В одиночестве. Никто со мной не пошел, да еще и обсмеяли. Что за глупость руки мыть?! Фенёк вот, например, облизал свои руки начисто и даже мордочку умудрился вылизать — зачем мыть? Женя совсем по-простецки: тщательно вытер свои лапища о свои же ляжки: и с этой стороны, и с той — чего ж еще? Так что я пошел один.

На этот раз мне очень повезло. По пути обратно я нашел кучу обкатанных рекой деревяшек — ну я и принес целую охапку. Женя меня даже похвалил за это. А я по привычке обомлел от его похвалы.

Сижу, топлю костер деревяшками, а они такие странные, каждая так причудливо изогнута, что кажется, это не деревяшки, а кости чудовищ, кости страшных китов из речных пучин — река обглодала их и теперь выплюнула на берег.

Чудовища! — и я вспомнил про пальцы.

Я достал из кармана штанов свой платок.

— Зазырьте! — предлагаю.

Разматываю платок, а Женя с Феньком и не заинтересовались даже, лупают разжиженными от еды глазами, животы свои раздутые ласково наглаживают.

Сытая осоловелость эта разом пропала, когда я извлек из своего платочка три — один обломался пополам, наверно, во время битвы с рыбиной — чертовых пальца.

— Ух! — ухнул Фенёк. — Что это?

— Чертов палец! — представил я свою находку. — Нашел на речке еще до того, как рыбину поймали.

— Ух! — снова ухнул Фенёк. — Можно потрогать?

Я великодушно разрешил, протянул Феньку палец. Женя тоже выразил желание полюбоваться моей находкой; и Жене — пожалуйста. Крутят каждый своим чертовым пальцем у себя перед носами, рассматривают, Фенёк свой еще и лизнул даже.

— Как так чертовы пальцы? — спросил Фенёк.

— А так, — говорю, — потому что черт их потерял, — объяснил я как можно равнодушной.

— Свои пальцы? — удивился Фенёк.

— Свои пальцы, — подтверждаю.

— Как можно свои пальцы потерять? — встрял Женя.

— А вот как! — этого-то вопроса я и ждал. — Сейчас расскажу!

Фенёк подполз поближе ко мне, чтоб было удобней слушать. Женя тоже подполз, и Жене интересно, что это за пальцы и как их можно потерять. И я, выдержав чуточку, чтоб нагнать на своих слушателей особого настроения, начал.

— Давным-давно на земле жили ангелы, — начал я, да не тут-то было.

— Как давно? — перебил меня Фенёк.

— Так давно, что почти никто и не помнит о тех временах, — объясняю.

— Ух, давно! — соглашается Фенёк. — А ты помнишь? — спрашивает.

— А я помню, — говорю. — Слушай!

— Давным-давно на земле жили ангелы, — начал я заново. — Жили они и радовались...

— Чему радовались? — опять Фенёк.

— Всему, — ответил я. — Песни пели — радовались, в трубы трубили — радовались, хороводы водили и радовались.

Фенёк согласно кивнул.

— Хорошо, продолжай, — разрешил он.

— Хорошо, — согласился я и тут же не согласился: — Да не хорошо.

— Почему? — не понял Фенёк.

— Потому что потом на земле появились люди. Сначала они жили вместе с ангелами, тоже пели, трубили в трубы, хороводили, и было им радостно, так же радостно, как и ангелам. Но продолжалось это недолго. Людей на земле становилось все больше и больше, потом еще больше и еще.

— А почему людей становилось все больше, а ангелов — нет? — спросил Фенёк.

— Потому что они не знали прекрасного общества дам, — вставил вдруг Женя, но я так на него зыркнул, что развивать свою мысль Женя не стал.

— Не знаю, — честно ответил я Феньку. — А людей меж тем стало еще больше. В конце концов их стало так много, что люди перестали радоваться таким простым вещам, как песни, музыка и пляски: людям захотелось чего-то большего.

— Чего? — спросил Фенёк.

— Чего-то большего, — повторил я. — Так вот. Люди начали теснить ангелов из высоких сосновых лесов, в которых пели ангелы, потому что людям понадобились эти леса, чтоб строить себе жилища и корабли; прогнали ангелов с длинных песчаных речных берегов, где они трубили в свои трубы, потому что звук их труб распугивал рыбу, которую ловили в реках люди; согнали ангелов с желтых полей, где те водили хороводы, потому что людям понадобились желтые поля, чтоб засадить их картофельными клубнями. Так вот. Однажды ангелам надоело, что люди их теснят с земли, и они ушли.

— Куда ушли? — ухнул Фенёк.

— В рай, — сказал я.

— А где это? — спросил Фенёк.

— Высоко-высоко, — объяснил я.

— Как облака высоко?

— Выше облаков, выше небес, выше звезд даже!

— Ух! — Фенёк закинул голову и посмотрел на звездное небо над нами.

— Отсюда не увидишь, — говорю.

Фенёк разочарованно выдохнул.

— А людей ангелы оставили на земле, но договорились между собой, что будут брать к себе в рай только тех, кто умеет радоваться самым простым вещам. Тогда такие люди могли бы петь в раю вместе с ангелами, трубить с ними в трубы и водить хороводы.

— А что там, в раю? — заинтересовался Фенёк.

— Там — яблочный сад, — говорю. — А знаешь, кто живет там, где есть ангелы и люди? — спросил я Феньку самым страшным шепотом.

— Кто? — испугался Фенёк.

— Черт! — говорю.

— Ух! — Фенёк испугался еще больше. — Как так?

— Не знаю как, — чистосердечно признался я, — да так уж заведено. Так вот. Черт увидел, что ангелы решили уйти в рай, и захотел вместе с ними. Он забрался на Джанман-ланг... Джо-мон-лун... на Эльбрус, короче, потому что нет ничего в целом свете выше этой горы. Прыгал на ней, прыгал, чтоб допрыгнуть до рая, но с каждым его прыжком гора только ниже становилась, черт ее в землю вбивал. Тогда стал черт громоздить ступенями скалы на скалы и выстроил такую лестницу, что смог по ней до рая взобраться.

— Видит черт, — продолжаю, — что последний уже ангел в рай заходит, захотел было за ним войти, протянул руку, чтоб придержать дверь и в рай проскользнуть, хоть его туда никто и не звал, но последний ангел так сильно ею хлопнул, что прищемил черту пальцы между дверью и косяком, и они отвалились. Взвыл черт на всю подсолнечную! Уууууу! — да как завою по-волчьему в рупор ладоней, Фенёк аж на заднице подскочил, даже Женя икнул, кажется. — Полетел черт обратно на землю по своей лестнице, а лестница под ним рушилась, и ее обломки на земле в новые горы превращались.

Фенёк слушает меня, а челюсть у него на земле перед ним лежит — вот я завернул!

— А как стали ангелы помы в раю мести, смели весь мусор и вымели его из райской двери, а вместе с мусором — и чертвы пальцы. Они упали на землю и закаменели.

— Ух! — ухнул Фенёк. — А с чертом что?

— Черт свалился на землю, — говорю, — да так и ходит теперь по земле, пальцы свои ищет. Иногда и на небо запрыгнет, только не так высоко, где рай — туда ему не достать теперь, и по небу шарит, ищет свои пальцы, выглядывает, вдруг какие и там, в небе, застряли.

— Без пальцев плохо, — посочувствовал черту Фенёк.

— Чего ж хорошего?! — согласился я.

— А черт и сейчас живет? — Фенёк покрутил головой так, будто испугался, что черт может оказаться совсем рядом, подкрасться и прыгнуть на него.

— Конечно, живет, — говорю, — куда ж ему деться?!

И тут встрял Женя с очень неожиданным вопросом:

— А черт-то настоящий? — спросил он. — Или выдуманный?

— Настоящий, — заверил я Женю. — Без усталости ищет свои пальцы и на земле, и на небе.

— Какие доказательства? — не понимает Женя.

Очень странно для Жени. Обычно благородства в Жене как в целом английском графе, а то и на двух английских графов одного Жениного благородства хватит. Так что Женя никогда не донимает придирами, да и вообще мало обращает внимания на такие вот мелочи, а тут вдруг вот.

— Ты хочешь доказательства? — неожиданно не потерялся я.

— Да, хочу!

— Видишь, звезда дрожит? — сказал я и ткнул пальцем в небо не глядя: в которую-нибудь да попаду, в небе много дрожащих звезд.

— Где? — выдохнул Фенёк.

Мой палец уткнулся — очень кстати! — в ужасную Бетельгейзе.

— Вот, смотри! — и я ткнул пальцем поприцельней, чтоб Феньку лучше было понятно, какую звезду я ему показываю.

— Ух, дрожит! — ухнул Фенёк.

— Ну и что, что дрожит? — это Женя все не понимает.

— А и то! — говорю. — Дрожит, потому что черт на нее дует, затушить, как свечку, хочет. А она не дается, дрожит, как свечка, и не гаснет. Сложно звезду затушить, даже черту.

— А зачем черту... — тут Женя осекся, тут у Жени не хватило астрономических познаний, чтоб спорить со мной. Я тебя мозгами переиграл, балда ты чугунная.

— Затем, что обидно ему, что пальцев своих лишился, вот и делает он всякие гадости, чтоб не одному ему обидно было, — ответил я на недозаданный Женин вопрос.

Женя пристыженно замолчал.

— А можно мне один? — спрашивает Фенёк.

— Бери хоть все три! — говорю я и протягиваю палец, который остался у меня, Феньку.

Фенёк радостно прибавил мой палец к своему.

И Женя отдал Феньку свой палец, — ему достался тот, разломленный. Отдал с таким видом, будто бы его совсем не интересуют никакие чертовы пальцы и никакие ему, Жене, чертовы пальцы и не нужны.

Фенёк взял и Женин палец.

— А они не опасные? — испугался вдруг Фенёк.

— Зачем опасные? — заверил я Фенька. — Наоборот даже. Они — волшебные. Помнишь, ведь они в раю у ангелов побывали!

— Ух! — ухнул Фенёк и прижал все три пальца, собранные в его маленьких лапках, к груди.

Мы сидим на берегу вокруг костра. Наши лица горят, а спины — холодные. От нашей одежды идет пар: она высохла, но не до конца. Деревяшечки, что я принес, закончились, и мы свалили все оставшиеся сосновые веточки в костер. Костер разгорелся, разросся. Пламя языками скачет, шуршит, свищет. Сосновые веточки трескаются в огне очень громко и всегда неожиданно, да еще и с искрами во все стороны, а я вдруг так испугался собственной сказочки про черта, что вскакиваю каждый раз, как которая-нибудь веточка вдруг стрельнёт. А Фенёк не испугался моей сказочки, у Фенька три волшебных пальца, ему бояться нечего, и Фенёк радостно смеется каждый раз, когда я подсакиваю. А мне обидно, что Фенёк надо мной смеется, но я ему ничего не говорю.

Еще и темнота. Чем костер больше, ярче, тем темнота вокруг него темнее, гуще. Огонь тьму сжигает, да всю не сожжет — куда там! Тьма накрыла нас тесным колпаком. Вот у меня уже и мурашки по спине побежали — совсем оробел. Как темнота, так сразу кажется, что где-то там, на обрыве, в темной лесной глушине, бродят среди деревьев страшлища редкие — а как из леса выбредут да наш костер увидят? Как темнота, то сразу кажется, что это не волны о песочек плещут, а река шепчет-нашептывает ласковые колыбельные, хочет тебя укачать-убаюкать, заманить, усыпить да унести тебя в свои пучины на прокорм речным китам. Как темнота, так сразу кажется, что и черта я не выдумал, а вот он — настоящий, вокруг нас по темноте ходит, выжидает, а как выждет самый подходящий момент, подкрадется да засалит!

Ну почему я такой нехрабрый?! Вот Жене храбрым быть легко, что этой груде бетона с чугунной черепухой будет-то? А мне сложно быть храбрым. Сложно быть храбрым, когда ты такое маленькое существо! А вот и Фенёк маленький, маленький — еще меньше меня, а никогда не боится. Ну, по-настоящему не боится. Значит, не в размере дело? Значит, есть что-то такое, что у одних есть от рождения, а другие родились без этого, что-то такое, что заставляет своего обладателя идти до конца и не сворачивать, идти даже на верную и неминуемую смерть, ни одной векой не моргнув, идти и не оставливаться. И что же это, железное сердце разве? И как быть может так несправедливо, что одним все и на блюдечке, а другим — немножечко ничего да еще и ничегошеньки маленько!

Мои мысли перебил Женя:

— Пора спать! — неожиданно заявил он, потянулся во всю некончаемую ширь своих лапищ, раззявил рот так, что мне показалось на чуточку, что он сейчас наизнанку через него вывернется, и зычно зевнул — у меня аж волосы на голове назад зачесались от этого Жениного зева, как если бы от порыва ветра.

Спорить тут нечего, и мы засобирались спать.

Женя лег спиной к коряге, гриву свою на ветку сложил. Я устроился головой на Жене — пусть акселерат подушкой послужит: ляжка у Женя мягкая, мясистая. Женя попытался было возразить, но я так убедительно щипнул его куда-то, куда попало, что ему пришлось отозвать свои возражения обратно — только зйкнул возмущенно и сразу затих. Фенёк свернулся у меня под животом и укрылся моей рукой, как одеялом.

Тишина, только сердца бьют. Женино размашисто бухает у него в ляжке — я это ухом очень чувствую. Бухает так, будто у него там, внутри, целая насосная станция работает. Огромные мехи его могучего сердца раздуваются, жадно затягивая в себя кровь, наполняются до самых крайних своих пределов и, выдержав чуточку, начинают сжиматься, проталкивая кровь дальше по Жениному телу. Сердце Фенька бьется быстро-пребыстро, звонко-презвонко колотит о его лопатку. Мое же скачет неровно, как трехногая лошадь: цок-цок-цок — и пусто, цок-цок-цок — не густо. И лошадь эта уж точно не сивка-бурка — так, калечный конек-горбунок разве.

Вдруг Фенёк встрепенулся, переложил мою руку и заерзал — у Фенька есть вопросы: а вот ангелы ушли и уже не вернуться? А к ним можно? Не сейчас, а когда-нибудь? А это у них крылья? А они летают, или крылья для красоты только?

Я думал, Фенёк со своими вопросами и сам не уснет, и мне не даст, а оказалось, что усыпить его проще простого:

— Спи! — говорю, а Фенёк уж и спит, сопит и пофыркивает.

И Женька тоже спит. Сердца заснули — теперь совсем тишина, только мое хромоногое все никак не заснет — разве опять так и буду всю ночь?!

Какой опасный был сегодня день! Мы катались на великах, сшиблись с Женькой лбами, я свалился с обрыва, а потом мы все вместе поймали рыбину и изжарили ее на костре. Кажется, я умер несколько раз за сегодня — а ведь жив! А сколько еще будет таких же дней! Еще ровно столько же, ведь сейчас самая середина лета.

Середину лета чувствуешь сердцем, середина лета — самое особенное время: это любой и каждый мальчик знает. Пол-лета уже за плечьями, пролетела, мигнуть не успел, и это заставляет с особой ответственностью относиться ко второй его половине. А как не успеешь всего, что к лету прилагается?!

А что прилагается к лету? Да что угодно. Даже самый осторожный, а можно сказать и проще — трусливый мальчик найдет, чем заняться. На факелы жечь рогаз, ловить в болотце тритонов, истреблять ящериц или на худой конец просто отламывать им хвосты. На голову ржавое ведро надел, и вот ты уже не ты, а человек в железной маске, ну, или крестоносец — это по обстоятельствам. Еще — забираться в самые глубокие уголки и строить там шалаши и жить в этих шалашах робинзонами.

В день вмещается целый год! Еще только утром твой корабль разбился, и тебя, всего изодранного, вынесло на берег необитаемого острова. Дни тянутся за днями, а у тебя к полудню уже и шалаш выстроен, и коза одомашнена, через час — одомашнен и Пятница. Чего только не происходит потом! Обходит Робинзон свои владения, пряча голову от тропического солнца под зонтиком, а зонтик-то складной, и очень им удобно, если сложить, отражать атаки злых пиратов и прочих дикарей. На обед корешки и стебельки. Один раз отравился, в другой — пронесло. Собирает аптечку и учит Пятницу: это вырчай-трава, если колено расшибешь или локоть — лучшее средство; это пижма — в обморок свалишься, тогда понюхай; это ольха, а на ней — шишечки, от — очень кстати! — от отравлений: разжевать и запить из лужи. Зачем из лужи отравиться? Говорю же, от отравлений.

На острове можно и клад найти: два пятака, три копейки, куча разноцветных стеклышек и несколько жестяных букв Ш или Е, это как посмотреть, а также пиастры,

пиастры!!! Как откуда клад? Мы на острове, а на островах всегда бывают клады — ты что, книжек не читал?! Ну и что, что клады из других книжек! Острова-то во всех книжках острова! Кстати, о кладах; раз клады, то можно и злым пиратам еще раз зонтиком настучать, а если дикари, то и дикарям.

На песочке перед жилищем Робинзона написано зачем-то SOS. Что за закорюки? Стыдно не знать: спасите наши души. Чего спасите?! Хорошо бы и камнями еще выложить. Как зачем? Чтоб спасли! Кого? Да души-же! А кто? Кто-нибудь: ну, с самолета увидят и спасут! Только есть надежда, что все-таки не увидят и не спасут и можно будет переночевать в шалаше, а там, утром, начать новый год жизни на необитаемом острове.

Один день — целый год, спеши жить! Спеши, так как потом начнется школа и будет целый год — один день.

Как удивительно устроено время. Лето пролетает быстро, зима тянется медленно. Учебный год: уроки, уроки и уроки: двойка, опять двойка, ну теперь совсем «кол» — вот и все разнообразие. Потому и кажется, что можно успеть на пенсию выйти, как закончится последняя четверть. А лето пролетает быстро-быстро, потому что летом интересно жить; столько игр находится летом, ты уж во все переиграл, кажется, а вот еще столько же новых.

А с другой стороны, если посмотреть на время, то получается совсем по-другому. Лето — бесконечно долгая пора. Один день летом может быть и месяцем, и годом, и тысячелетием. Разнообразия дел летом выше крыши — кажется, что и во всю жизнь столько дел не переделаешь, а вот же как-то за лето справляешься — не такое, оказывается, лето и короткое. Однообразие же зимы, учебного года скомкивает время. Только четверть началась, вот и другая к концу подходит. Эта кончилась, и эта — и вот уж лето: записал в дневнике на первый день «День знаний», и — вжик! — уже годовые двойки с тройками, удами и неудами тебе в тот же дневник проставляют.

А еще зимой — законы физики действуют и всего действенней они в кабинете физики, потому что там их и изучают, но и во всей школе так. Везде и всё — только законы физики и ничего больше: падать — так непременно сверху вниз и с определенным до второго знака ускорением свободного падения — физика; камень в золото не обращается, как ни колдуй — тоже физика; или вот совсем уж дикость — что значит нельзя прорыть дыру через центр Земли?

Летом физика с ее глупыми законами отменяется, у физики летом каникулы. Как нельзя через центр Земли? Вот же чертежи — очень даже можно. Вокруг света — за три дня, а если хорошенько поторопиться, то и за два успеем на одиннадцатом троллейбусе. Сила притяжения? Разве можно поверить, что выживешь, прыгнув вот отсюда. Под тобой пропасть, а ты все равно прыгаешь; прыгаешь и очень даже удачно приземляешься: тут ничего такого и нет, на Марсе совсем другая гравитация — вот тебе и законы физики!

А как ты на Марс-то попал? Да я уже весь космос избородил, что Марс-то?! Да как все-таки?

На Марс — очень просто. Если из большой деревянной катушки из-под кабеля, из ее основания, выдрать пару досок, то получается прекрасный звездолет. Ладно, отбросим скромность, в таком деле ей не место: это не просто прекрасный, а один из лучших в своем ряду звездолетов звездолет.

По местам! Как слышно, кабина пилота? Кабина пилота — основание катушки; ты — в нее через выдранные доски и знай только держись, а друзья тебя в этой катушке и до Марса докатят, и до Альдебарана даже.

Зачем до Альдебарана? Вчера летали! Ну, тогда на Кассиопею! — скучно на Кассиопею, сейчас туда никто и не летает! На Бетельгейзе тогда разве? Вот молодец и смельчак — не всякий отважится на Бетельгейзе! Ужасна и загадочна звезда Бетельгейзе — любому и каждому мальчику это известно! Уверен, на Бетельгейзе? Уверен, на Бетельгейзе! В случае, если я не вернусь, передайте моей матери, и сестре передайте, и жена пусть слезы свои обо мне не льет. Начинаю обратный отсчет: пять — все системы работают стабильно; четыре — поджигай сопла; три — на старт; два — внимание; один — марш; ноль — он сказал: «Поехали!», он махнул рукой. И — покатили твою катушку по всем кочкам!

Десять секунд — полет нормальный, двадцать секунд — успешно отделились ступени; тридцать секунд — еле выбрался из катушки и весь завтрак на асфальт — а что это такое розовое? В звездолетах укачивает, но это ничего. Тот, кто умеет поставить себе цель, сможет ее и достичь: сорок секунд — снова полет нормальный. Ура! И вот наконец она — ужасная Бетельгейзе, перед которой трепещут даже самые опытные космонавты нашей оравы и, несомненно, будут трепетать космонавты будущих и будущих мальчишек.

Я лежал головой на Женькиной ляжке, смотрел на бескрайнее звездное небо и мечтал обо всем том, что запасено для нас троих на вторую половину лета. Это лето должно стать лучшим летом наших жизней, просто обязано, ведь для нас с Женей это лето — последнее. В следующем году мы оба совсем повзрослеем и окончим школу, девятый класс. У нас, наверное, будут заботы поважней теперешней безделицы.

Что-то будет тогда с Феньком? Ведь он еще совсем маленький и у него впереди еще много-много беззаботно-солнечных лет.

Я не знаю, как все будет, и мне поэтому страшно. Я не знаю, как все будет, но я точно знаю одно: со своими друзьями я не расстанусь. Никогда.